

Справочник убегавшего

М. ГРИМ



ст. Ока
Тридцатое февраля
2025

Новые
романы
для чтения вслух

The Shocking Blue

Venus

A Goddess on a mountain top
Was burning like a silver flame
The summit of beauty and love
And Venus was her name

She's got it,
Yeah, baby, she's got it.
Well, I'm your Venus
I'm your fire, at your desire
Well, I'm your Venus
I'm your fire, at your desire

Her weapons were her crystal eyes
Making every man mad
Black as the dark night she was
Got what no-one else had
Wow!

She's got it,
Yeah, baby, she's got it,
Well, I'm your Venus,
I'm your fire, at your desire
Well, I'm your Venus,
I'm your fire, at your desire

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah!
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah!

She's got it,
Yeah, baby, she's got it.
Well, I'm your Venus,
I'm your fire, at your desire
Well, I'm your Venus,
I'm your fire, at your desire

Gerry Rafferty
Baker Street

Winding your way down on Baker Street
Light in your head and dead on your feet
Well, another crazy day
You'll drink the night away
And forget about everything
This city desert makes you feel so cold
It's got so many people, but it's got no soul
And it's taken you so long
To find out you were wrong
When you thought it held everything
You used to think that it was so easy
You used to say that it was so easy
But you're trying, you're trying now
Another year and then you'd be happy
Just one more year and then you'd be happy
But you're crying, you're crying now
Way down the street there's a light in his place
He opens the door, he's got that look on his face
And he asks you where you've been
You tell him who you've seen
And you talk about anything
He's got this dream about buying some land
He's gonna give up the booze and the one-night stands
And then he'll settle down
In some quiet little town
And forget about everything
But you know he'll always keep moving
You know he's never gonna stop moving
'Cause he's rolling, he's the rolling stone
And when you wake up, it's a new morning
The sun is shining, it's a new morning
And you're going, you're going home

Справочник убегающего

*Два романа М.Грима
для чтения вслух
при совместном сидении взаперти,
изданные Исуповым*



ст. Ока
Тридцатое февраля
2025



М.Грим

Справочник убегающего: «Бородино» и «Отсюда», романы (повести) для чтения вслух при совместном сидении взаперти. — Ст. Ока: 30 февраля, ispv.ru, 2025. — 170 с. (илл.). Некоммерческое электронное издание.

М.Грим, с которым мы, увы, даже не виделись, но которого я, некто тридцатифевральский Исупов мечтаю встретить на станции Ока с цветами, оркестром ложкарей и на плечах отнести к ненаглядной реке, за эти зимне-весенние месяцы-24 из совершенного незнакомца стал *дорогим М.Гримом*. Очень близким человеком. Надеюсь, наша (моя) готовность к переноске предположительной тяжести устоит перед её физическим воплощением (что если это *крупный* очень близкий человек :-)?); надеюсь, он лёгок, как его точёные *разговорные* (но такие теплокнижные) вещи, которые он, по какой-то неведомой прихоти, поставляет нам с периодичностью говорения (сообщает, что, произнеся их под запись перед окружающей публикой разной масти, он почти не медлит с их отправкой).

Первая книга М.Грима, «Новости Брайля», — дважды роман: она и роман (см.), и наговоренный *дискретный* роман.

Вторая книжка — перед вами, и эти романы — (начитанные вслух) повести.

За первую книгу мы, так и быть (втайне думая, а что если это дама :-), потому что голос на е-плёнке штука легко *гнуцающаяся*), однажды летом прямо с платформы снесём М.Грима на наш рыжий окский песочек. А за вторую, что же, возьмём его с собой до Тарусы. Вплавь-вплавь, очень близкий человек М.Грим.

Спасибо Playground AI за обложки «по эскизам» и внутренние иллюстрации по «мотивам». Спасибо Bitstream Inc. за гарнитуру *Baskerville Win95BT*, а Alexandra Korolkova, Olga Umpeleva, Vladimir Yefimov и студии ParaType — за шрифты PT Serif и PT Sans Narrow.

© М.Грим, романы (повести), 2024

© Изд-во «30 февраля», ispv.ru, 2025

Справочник убегаю

М. ГРИ



Бородино

Повесть
с
текстами
предсмертных
песен
и
фотографиями
покойных
любимых

ст. Ока
Тридцатое февраля
2025

Новые
романы
для чтения вслух



Выше перьев на кивере

Когда в моём застенке закончились старые газеты, потом газетные клочки, в которые были завёрнуты ёлочные шары, потом пустые изюговые книжки, оставшиеся от пустых людей, квартировавших здесь прежде, потом газетные клочки, работавшие закладками в книжках, потом поля и междустрочия в моём Огиз-Пушкине 46 года, потом накрахмаленные белые рубахи навывпуск, в которых меня выводили на устрашающий расстрел (или повешение), оставляя их в качестве памятного сувенира (семнадцать рубашечных сувениров равны семнадцати торжественным выводам под бойкий оркестрик с тремя контрабасами и одним жестяным барабаном при тамбурмажоре и жидких притопах конвоя), потом плечи, руки, груди, животы, спины, бёдра и долгие ноги женщин, которые приходили сюда в обмен на 1 (одно) мелкое, но исчерпывающее любопытное показание в пользу двуногих, шьющих на меня тома, но шьющих под копирку опостылевшее и ленивое, уже двенадцать миллионов раз подводившее под монастырь (повешение или расстрел),

а палачу это вдруг надоело, и он сказал: нет, пусть, конечно, сидит до помутнения рассудка, одряхления плоти и последующих трупных пятен, но давайте-ка впервые убедим планетку в том, что он сидит, а потом будет расстрелян (или повешен) в прямом эфире ЗА ДЕЛО, падлы, а не за то, что «пил через соломинку кровь выкраденных из песочницы чужих малолетних детей, которых хранил в холодильнике и время от времени выводил на повешение (или расстрел), потому что ненавидел детей, орущих из бокса для овощей», а двуногие олухи даже не почесались, ибо у них переизбыток производственных заданий и неподъёмный план, на того напиши, на этого, а на тридцать третьего капать без толку, переедемте-ка его, товарищи, карьерным, что ли, самосвалом, потому что если его,

тридцать третьего, взять, он тут же сдохнет от одной только мысли о посадке,

и тогда я, простой смертный, смертный через копеечное время, простой реактивный смертный с убывающей памятью, которую перепоручил бумаге, ибо та хоть и горит, но сберегается пуще смертного, ибо не умеет одним плевком умыть рожи и мучителя, и надзирателя, которые взялись за руки, изображая передо мной маленьких лебедей, прежде чем вывести на устрашающий расстрел (или повешение), исписав всё и всё это переправив на волю в виде святых д^ухов, принявших образ голубка мира, который вдруг присел на пилотку надзирателя или погон мучителя, когда они заходили в мой застенок, не без оснований полагая, что голубок мой не будет изведён на фарш, но станет храниться в домашнем красном углу мучителя или надзирателя и почитаться, а уж их дети или внуки, когда их отцы или деды, отойдя, отомрут, развернут эти затейливые оригами и прочтут написанное мною — и впитают, не смогут не впитать, ибо написано так, как д^олжно, а так же в виде кисетов, пошитых мною из устрашающих накрахмаленных вешательских (или расстрельных) рубах, уютных мешочков ручной работы для табака в подарок, гражданин надзиратель или мучитель, искусных и с изошрённым хохломским золотошитьём, веря, что когда-нибудь их вывернут наизнанку — и не смогут не впитать написанное мною...

...так вот, когда всё это убыло в прошлое, я догадался помочь палачу, придирчиво, том за томом, показывая против себя, в обмен на обворожительных (я дал исчерпывающие указания) женщин (с умеющими писать детьми в анамнезе), которых запускали на пару предрассветных часов без трескучего пятисотваттного света накаливания, чтобы я успел насладиться, сиречь исписать их, и которые клятвенно обещали (а с этого начинались все свидания), и я верил, что они умолят своих отпрысков, своих, не моих, дав им билет на электричку до увеселительного Серпухова, на который я давал женщинам монетки, которые иногда находил в тайниках камеры, которые находил то и дело, переписать всё, что я

накарябал на их милых художественных телах, и спрятать под спичками в балабановских спичечных коробках в дальних углах подпола дома с печным отоплением, там, где они хранят своё: новогодние открытки от бабушки, трёхрублёвые купюры, шёлковые чулки, в которых выйдут на солнце, если будут живы и можно будет выходить по одной и без лопаты, а не в колонне по сто в валенках и со штыковыми лопатами, и я даже собирался письменно отказываться от баланды, если не успевал перенести на очередную изумительную женщину всё, что хотел, — так я себя приструнивал бы, чтобы впредь быть расторопнее,

я ведь на что уповал: что записи мои прочтут или найдут-и-прочтут, не успев спалить дом с дровяным отоплением, и нашедшие их сегодня ли, завтра ли вытащат себя, не меня, из всеобщего застенка, потому что написанное мною — важно, важно и исчерпывающе, как инструкция, написанная кровью, важно и исчерпывающе настолько, что всё время приходится переписывать и дописывать, потому что врываются со вздорным шмоном (где у тебя длинноствольное нарезное огнестрельное оружие и яды?), а я, перепугавшись, могу съесть написанное — и уже съедал, и не раз, чаще всего главу на газетных обрывках, работавших закладками в моём Пушкине, или скурить — и уже скуривал, вдруг смертельно захотев, хотя никогда не курил, наловив на прогулке летящих оранжевых листьев,

вот отчего приходящие потрясающие женщины — самый надёжный тайник, если только они в самом деле, как и клялись, таят переписанное в подполе, а не смывают поутру в реке, вот почему на них я строчил самыми въедливыми чернилами, которые изобрёл сам из тягучей полуголодной полугодовой слюны язвенника и серых голубиных катышков, влетающих с ветром в отдушину под потолком с трёхметровой высоты, и ещё одного неприличного ингредиента, писал и приговаривал: как только перенесёшь с тела на бумагу — словечки мои отдраишь с себя легко и без боли, ты только речным песком три,

а потом закончились новые женщины, которые могли прийти ко мне по согласию после моего навета на себя, а не по служебному заданию или рвению, и на служебных, от

которых за версту пахло службой, каким бы банным мылом они её ни намыливали, я не писал ничего, мы просто сидели, крепко обнявшись, чувствуя сердца друг дружки, одно скорого смертного, а другое — лейтенанта или капитана службы, которому доверили, а когда ещё раз пришла та красивая и согласная, что уже была, я жарко трогал её за сердце: переписали ли? спрятала ли? и она уверяла, что всё-всё сделала, а если б уверяла неуверенно, будто забыла, из-за чего ходила две недели исписанная, а в бане поленилась, а теперь хорохорится и врёт, я повторял бы на ней её старую главу, но у неё от зубов отлетало — и я брался за новую главу и писал её в полнейшей темноте на милом теле изумительным почерком письмоводителя генеральной канцелярии божиею милостию его преохренительного сверхвеличества палача, князя чухонского и прочая, и прочая, и мучитель с надзирателем в глазок ни черта не видели, как ни впяливались, ибо лошадиная лампочка потушена, ибо я загодя впечатляюще оговорил себя и заслужил потёмки, ибо разголять мою предрассветную даму на выходе из застенка никто не будет, только ощупают, из-за лени полагая, что на дамах с картин вольного не напишешь, а кроме того, я просто стесняюсь.

Но тут мне сказали устно, не письменно: отстань, не до тебя сейчас, и вообще — твоих чистосердечных наветов нам выше павлиньих перьев на кивере, и они до того кроворечивые, что в них поверит и стар и млад вся планетки, которая будет пялиться на тебя в прямом эфире всю рабочую неделю процесса, если для него придёт теперь время, так что хватит с тебя баб с длинными выями, нам от тебя, сволочь, ничего больше не надо, ты же, сволочь, готовься к прямому эфиру, учи пухлые наговоренные тобою на себя тома, которые мы скоро предоставим (будем репетировать и проверять, оценка должна быть не ниже «хор.»), а пока кушай на «хор.» (баланда прилагается) и истязай себя физрой (турник устроим), ибо должен быть пышущим и благоухать (одеколон прилагается), спасибо за сотрудничество, сволочь, обожающий тебя, сволочь, твой моё охренительное величество палач.

Самопоклён №1...

Довожу до сведения палача, князя чухонского и прочая, что *покончить с ним* со всей возможной зоосвирепостью и тошнотворными сценами насилия — да в прямом эфире на всея планету во время моего расстрела (или повешения) — я задумал в ту же терцию, когда меня, повинувшись генератору неслучайных изъятий (который непогрешим, ибо его писал я, и считает даже малейшее промилле свободной мысли, как бы такую крошку ни прятали под нашенской пищиковской кепкой ли, или под серо-буро-малиновой маской лепрозного больного, который вышел за хлебом, *et tunc, soror, retro*), вдруг изъяли из сплочённого потока, который беспрестанно течёт вдоль, поперёк и вокруг улиц и площадей стольного града N в надежде почувствовать хоть что-нибудь человеческое среди подобных себе антропометрически и, если повезёт, физиологически. Два перса из изымающей бригады амбалов, такие бычары, что не каждый хряк отращивает таковские телесные оковалки, вломились-и-врезались в наше беспросветное стадо, разметав многих до синяков, крови из носу и рёбер, пронизавших внутренние органы, и бережно вынесли меня, взвив на лапищах над своими кумекалками.

(Кой чёрт я вылез и побрёл, и влился в эту незастывающую человеческую кашу, которая мгновение назад приветливо тёрлась о меня своими боками, а потом, впитав амбалов, отвернулась и даже расступилась, чтобы между нами — кашей и непутёвым островным комком — был зазор ненависти, и так одиноко мне стало, как бывает только во сне, потому что в яви тебя узнаёт хотя бы твоя собака. Вот как оно, оказывается, обступает, абсолютное горе, и меня даже вырвало. Кой чёрт? — Из-за мелькнувшего тем утром, ещё на раскладушке, в полусне, слова-нескольких, которое невозможно ни забыть, ни не заметить, потому что оно — готовое стихотворение, которое просто надо написать. Убить вас, палач, — это стишок, который просто надо привести в исполнение. Я не мог, не мог я не услышать это слово — и не послушаться его. Так не бывает; у меня — никогда не было. Выше моих сил и моего страха.)

Ваше охрентительное величество, наградите же их именными саблями, смазав прежде домашним топлёным маслом мой генератор: свободная мысль из последних сил, чуть не падая, и впрямь витала в моей забубённой голове, как витает все четверть века вашего престоловерчения, — увы, одна, но зато, ах, какая: НЕНАВИЖУ.

Шапочка из фольги (как дурак не снимаю), бросающая тело из стороны в сторону походка хронического инсультника — и зачистивший аминазин от животного страха, чтобы не лезть в поток, а сидеть себе дома около портвейна, не помогли. Это был мой первый выход в свет, после того как генератор неслучайных изъятий заработал на всю катушку Румкорфа (берегите его, вашество, видите, какую мощь я написал: поток вязкий и многотысячный, а с НЕНАВИЖУ был только *один* овечка, *его* и сцапали; счёт первого раунда за вами, и он — Х000:1). А других здравых мыслей нет, не надейтесь, не верьте, не ведитесь на нашёптывания. Но были, были: ещё одна посетила сразу после изъятия и смертного боя по методике «Признавайся, сволочь», о чём доношу искренне:

это, несомненно, заговор, хорошо разветвлённый и отменно вооружённый, который готовился долгие годы сочувственниками, НЕНАВИДЯЩИМИ г-на палача лично. Вас, вашество (не оглядывайтесь). Правильно вам на меня донесли.

А больше я вам ничего умопомрачительного про себя не донесу — пока не приведёте в ночной предрассветный час в мой застенок на два часа для хоровода вокруг ёлки (ёлка нужна заранее, а шаров не надо, шары есть) и уважительного возлежания рядом с вашим будущим убийцей **женщину любимого типа**:

не служивую, из народа (но не стада), которая придёт по своей воле из одной только милости к падшему, слышавшую два имени: Анна Андреевна и Жанна, готовую на всё после моего повешения (или расстрела), то есть к полёту из окна высокого этажа (и тогда, я приказываю, бросьте нас в одну могилу), знающую наизусть ¹«Мне с тобою пьяным весело», ²«Вполоборота, о, печаль, на равнодушных поглядела» и ³«Все мы бражники здесь, блудницы», с лебединым

всем: выей, белоснежными руками прачки (знающей толк в отбеливателях), ногами (как у Истоминой), серозеленоглазую (но с катарактой), горбоносую, русую, выше (>185 см) меня, стройную (когда обнажена и на неё смотрят во все глаза), погожую и покорную, изящно, но неброско одевающуюся — чтобы хоровод с ней водил совсем уж вахлак в бывшем обалденном бостоновом костюме с искрой (который был на мне, когда вы меня изъяли), готовую терпеть мою ревность и избавление в ссорах от ножей, вилок, тарелок и трёхрублёвых купюр (которые я буду ей совать, а она отказываться), (которые прекрасно летят с балкона).

Иную, оглядев и расспросив, отмету с порога, — и больше вы ничего не узнаете о заговоре на будущее покушение на вашу ж.

Вашество! Хватит устрашать меня показательными расстрелами и повешениями. Мы всё равно казним вас во время мой казни в прямом эфире на всю яйцеголовую и меднолобую Землю. Просто нам нужна небольшая отсрочка для доведения плана до зеркального блеска.

P. S. Не знаю почему, но вдруг вспомнилось знакомое сызмала:

*Тече вода з-під явора
Яром на долину.
Пишається над водою
Червона калина.
Пишається калинонька,
Явор молодіє,
А кругом їх верболози
Й лози зеленіють.*

Красиво, правда же? Прочитайте это в зеркало и попробуйте не разбить его. Глаза покраснели? из орбит вылезли? Зато цел кулак.

Аминазин, ваше мелкоплодие, помогает. Неужели до сих пор не пробовали? А вы попросите, попросите-попросите у холуёв, стесняться тут нечего, чем только мы

не боюсь. Я вон сам себе вкалываю, чтобы не встать, — и вы не встаете, побойтесь же наконец, Господа (а не вашего приклатнённого господина в голде, отнятой в подворотне), — ведь кругом ещё столько двуногих, которые могут оправиться, встать с четверенек (а то, что они прячут единственную свободную мысль, это о чём кричит не своим голосом, ваше дело? — Приспособились. Подделались ради детей, и только. Но мысль-то жива, просто надёжно прячется).

Р. Р. S. Нафабрили ли вы усы, получив эту писульку, которая войдёт в первый том моего эпохального дела? Водрузились ли на лошадку, нафабрив растительность? Ах, простите, у вас не растут. Не у мужиков не растут. А щетинистую щёточку под носом не нафабришь.

...После которого пришла дама №1

В чёрнотраурном пальто с широкими ватными плечами, в которых хоронят на северах, чтобы покойник не мёрз, в белых босоножках, в которых девчонки выбегают на первое свидание, в десантном берете, в котором наши мальчики тонут в бронетранспортёре, выброшенном с заданием в заливе Лаперуза, в свадебном платье, в котором так грустно, что слёзы текут по меловым щекам без остановки все пьяные сутки, в шелковых чулках из подпола, в которых выходят в свет, когда в свет не выходят в колонне по сто с лопатами, в бусах, в каждом медовом катышке которых живёт древняя муха с зелёными глазами, в корсете из китового уса, в котором провела половину детства, выправляя осанку, в бельё кружевном настолько, что кружилось в глазах,

а на лице ничего вымученного и фальшивого, одна лишь тонко исполненная коричнево-карандашная мушка и два летучих волосяных штриха, нанесённых неотрывной рукой

и нежным чернильным карандашом, чтобы подчеркнуть нужные мне глаза.

Платье подняла сама, и ноги оказались долгими, потому что (рассказ долог, напоминаю я себе, не тони в деталях) обожаю длинноногих с детства, когда, уплыв далеко в море, подглядывал, как они ныряют, взбрыкивая в воздухе вытянутыми в струнку блестящими ногами... Но тюремщикам любопытно, «вы так много знаете», и они просят продолжать, и я строго выговариваю им: «Скоро рассвет».

«Зловещий голос — горький хмель — / Души расковывает недра: / Так — негодующая Федра — / Стояла некогда Рашель», — заканчивает она первую строфу. Очень, очень хорошо. «Специально выучили, чтобы?» Искренне не понимает, о чём я. Очень, очень хорошо. «Проходите же. Нет, погодите: мешок с хлебом оставьте за дверь, его вольный запах убьёт меня. Вы вообще откуда? где они вас отыскали?» — «В потоке». — «И с какими же мыслями в голове?» — «Влилась, думая, где бы достать на неделю хлеба для мальчика и собаки, у нас большая собака, привыкла к хлебу, скучает без него, а лебеду есть так и не научилась, да и я не даю, а сама я могу без. А потом думала, что повезло — хлеб оказался вчерашним, и давали его, не жадясь, потому что левый». — «Всё, всё, входите... входи».

Она переступила порог, дверь закрылась на все замки, полутьсячеватный свет с треском схлопнулся до выкалывания глаза без боли, и в застенке с мягким шорохом застучала звуковая стрелка, всего семь тысяч двести предрассветных секунд, чтобы в конце я смог понять, какое теперь время года, несмотря на её траурноаспидное пальто. Это двухчасовое чёрно-белое кино, ненаглядная, сначала чёрное-пречёрное, без малейшей серости, а потом — сразу белое, а у меня жёлтое, потому что принцип дедов: накаливание до выпадения глазных яблок.

«Шрамы от сабель, — спросила она, — это ваших дурацких рук мерзкое дело?» — «А, так они всё вам... тебе объяснили?» — «Да, да, но я и без них жалостливая. “Шрамы от именных сабель, — журчат в потоке. — Услышь и передай другому”. Теперь они оставляют на нас ещё и сабельные шрамы. А

сабли им вручает сам палач. В потоке журчат, что разорвут того, кто подал палачу идею. Мало нам шрамов. Мало нам тычков альпенштоками, получите сабельные наскоки». — «Но ведь не убивают же». — «Это да. Им нельзя. Они в ошейниках, они слушаются. Кто же покусится на личное дело палача...» — «Вот и славно. Шрамом больше...» — «На бритом затылке рубцы пугают до дрожи. Или через всё юношеское лицо... не видели?.. от левого виска до краешка правой скулы. Разбухший широкий багровый плохо заштопанный шрам. Если веко было открыто — левый глаз кривеет». — «Но что-то видит?» — «Не спрашивала... не знаю. В потоке не потеряешься — даже если хочешь, плечо в плечо, бедро в бедро, в ногу, с левой, за этим следят». — «Да знаю я, я же недавно тут... Модильяни любите?» — «Не меньше пастилы :-))».

И я снимаю с её долгой шеи и бархатной груди медовые бусы. Помешают.

Оригами, если не под образáми, очевидно, употреблены по нужде, хотя я не представляю, как это возможно со святым духом, сошедшим на их уборы и погоны, обратившись в бумажного голубка... Что значит начинайка ты, петя, васин сын, всё сначала идеальным почерком да введливими чернилами. С первой главы.

«Ненаглядная, вы... ты легла? ты вытянулась? ты все складочки расправила? — шепчу я на её ушко. — Ты ведь разделась? и разделась вся, до кончиков пальцев на твоих долгих загляденье-ногах? Думаешь, я так истосковался, что накинусь и буду два предрассветных часа... что делать? Я, конечно, соскучился, хотя и *не* вижу тебя в первый раз, но сначала, если ты не возражаешь...» — «Не возражаю. Я же говорила: я сердобольная». — «А я падший. Но сначала я напишу на тебе первую главу, которую ты — поклянись...» — «Клянусь». — «...прежде чем сотрёшь с себя окским песком, перепишешь руками своего дитяти, ибо с зеркалом ты промучаешься до второго пришествия сатаны. Побори свою стеснительность, это условие, пусть мальчик... или у тебя девочка?..» — «У меня мальчик». — «...зажмурившись, ибо ты сияешь, перепишет всё-всё с твоей амедео-плоти, лучащаяся Жанна». — «Я не Жанна». — «Наверное. Я начну

на правой груди... Кружевное бельё снимать не стоило. Верни его, пожалуйста, на место. Я не смотрю. А смотрел бы — не видел. Места много, места хватит; неужели ты забрасывала трёхочковые с закрытыми глазами?» — «Угу, клала в кольцо, как птица утратившая гнездо, безо всякой оглядки, на толкающейся площадке...» — «Ух ты». — «А ты думал... Лифчик и трусики на месте, милый. А я так хотела». — «Ты смеёшься, а я всё равно краснею, милая. Хорошо, что ты тоже не видишь этого... я багровый, как кровь, высыхающая на полу... А потом, достигнув заветного пространства под пупком и исписав его до линии летнего загара, я перейду на спину, чтобы снова строчить до пояса и оттуда перескочить на правую руку, которую испишу всю сверху донизу; потом я сделаю это с левой рукой, продолжу на правой ноге, затем на левой — и перейду на твои умопомрачительные ноги сзади, начав, прости, с правой ляжки... с того, что от неё осталось, после того как ты надела кружевное. Ты запоминаешь?» — «Ещё бы». — «Пишу я всегда слева направо и сверху вниз. Добравшись до правой щиколотки, слова перетекут на левое, гм, бедро, чтобы поставить окончательную точку на левой лодыжке. А на ёлку, милая, у нас не хватит времени. Поэтому приходи ещё, если тебя вдруг сцапают в потоке... Я начинаю, милая. Времени в обрез».

Я шепчу текст задом наперёд, как в обратной перемотке, чтобы она знала, на что отважилась, а они ничего не поняли. «И, пожалуйста, сладостно постанывай, чтобы они окончательно запутались. А я подхвачу: буду смешно пыхтеть».

Глава 1

(Вы никогда не забудете этой рукописи, дня, когда прочли её, и своих чувств после прочтения. Обо всём этом вы будете помнить всегда, вспоминая об этом каждый день, и очень скоро эта рукопись станет вашей, вашей сутью, хотите вы этого или нет.)

Можно я начну с небольшой анкеты?

Спасибо. Пожалуйста, отвечайте на вопросы анкеты искренне и со всем тщанием — так, как отвечали бы перед

Судьбой, которой вздумалось посоветоваться с вами о продолжении... о протяжённости вашей жизни. Судьба спрашивает у вас: «До ста или ста десяти?» А вы такой, весь гордый от шанса и загоревшийся, ибо за десять лишних лет можно горы свернуть: «До ста десяти, пожалуйста». И в этом ответе нет ничего вздорного — одна лишь чистосердечность и одно лишь усердие. Теперь поняли? Умнички.

1. Сколько вам лет?

Если вы ребёнок — наплюйте на слова о Судьбе, которые вам ничего не говорят, но подумайте о маме, на которой это написано: в 4-й главе, которую вам (одному или с мамой) предстоит отыскать после двух предыдущих, а потом целиком усвоить и осуществить, сказано: «И мамы тоже: скоро восстанут, а мы их — раз, два». Думайте, и крепко, о её будущем вызволении.

Если вы взрослая (а я знаю это, ведь мы только что провели вместе два удивительных предрассветных часа), подумайте о ребёнке (своём и чужом): вы старая :-), вам, может быть, уже всё равно, но ему — нет, и если всё получится, получится так, как описано тут и в следующих трёх главах, а не получиться не может, ибо я всё продумал, ему наконец-то вздохнётся, ибо цель у нас с вами и с ним одна: СВОБОДА. Вам старенькой :-)) она тоже не мешает, не правда ли?

Пожалуйста, записывайте ответы, а потом приложите их к Первой главе.

2. Готовы ли вы пожертвовать собой ради СВОБОДЫ?

Если нет, не отвечая на следующие вопросы анкеты, перепишите всё, что нанесено на это дивное Модильяни-тело и спрячьте под спичками в спичечных коробках в подполе, и пусть дом, в котором вы притаите коробки, будет с печным отоплением, чтобы если уж полыхнёт, то с концами, и никто не пострадает от этой потаённой бумажки, а коли не сторит — подумайте вот о чём: надо ли полагаться на дядю из далёкого будущего, который,

отыскав главу, всё равно осуществит написанное? Может, не оттягивать, не полагаться на, не перепоручать? Не стоит ли попробовать самому, чтобы дядя из ещё более зверского несвободного будущего не искал неизвестно чего — а жил в своё удовольствие, купаясь в СВОБОДЕ? В общем, следующие вопросы всё равно ждут ваших ответов :-), даже если вы, ужаснувшись, готовы сжечь переписанное здесь и сейчас. Отложите-ка спички. Утро через неделю мудренее этого перепуганного до первой седины вечера. Мальчик/девочка, продолжайте переписывать. Мама, включите верхний свет, — мальчику/девочке плохо видно.

3. Готовы ли вы поднять руку на палача?

Если не готовы, но на второй вопрос ответили «да», ваше «нет, не готов» — простите, вздор. Палач — это несвобода, это (не единственная, но главная) причина несвободы. СВОБОДА — это неимение палача. Неимение палача — это его устранение. Устранение не всегда насилие, но зачастую это оно, чреватое отрыванием множества светлых голов. Вашей тоже. Так хотите ли вы СВОБОДЫ, будучи готовым пожертвовать собой ради неё?

4. Готовы ли вы поднять руку на палача в день моей казни?

В любом случае у нас с вами есть время: меня казнят через полгода, когда я перестану морочить им голову, сочиняя на себя доносы о немыслимом заговоре. Процесс будет недолгим, всего неделю, зато феерическим, на весь земшар, с убийственными праздничными показаниями, после которых последует короткое прокурорское: «Убить, как собаку. Иного не дано» и не менее афористичное судейское (судье даже не понадобится удаляться: к чему, если содеянное мной вопиёт!): «Как бешеную собаку. Повесить. Расстрелять. На усмотрение палача». Я предстану таким исчадием (а я постараюсь), что будет так.

И вот, когда меня казнят, не раньше и не позже, всё и случится: вы поднимите руку на палача. Готовы?

Переписывающему это мальчику/девочке будет 12 ½, а вам, дорогая моя, 37 ½, и это золотая пора для осуществления плана.

5. СВОБОДЕ — СВОБОДУ. ПАЛАЧУ — СМЕРТЬ.

Запомните это, не оставляя отпечатков, запишите это на множестве листков и каждую ночь развешивайте это по всему городу.

Готовы ли вы в течение полугода каждый день переписывать это от руки красивыми печатными буквами и всякую ночь расклеивать это по всему городу?

Если «да», начинайте сейчас же, чтобы уже этой ночью весь город белел этими не смываемыми дождями и не отрываемыми руками листовками. Крепко подумайте, чем их переписывать и как их клеить. (Подсказка: сверху лаком.)

Ни одна вертикальная плоскость не должна быть пустой, будь то историческая кирпичная стена вокруг резиденции палача или витрины городских магазинов. Гуще, ещё гуще, пожалуйста. Чем гуще — тем больше мы готовы.

6. СБОР ВСЕГО (!) ГОРОДА НАЗНАЧЕН НА ДЕНЬ КАЗНИ ИМЯРЕКА ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЕГО КАЗНИ НА ЛОБНОМ МЕСТЕ.

ВЫХОД ВСЕГО (!) ГОРОДА К МЕСТУ КАЗНИ СОСТОИТСЯ В ТУ ЖЕ МИНУТУ СРАЗУ ПОСЛЕ КАЗНИ (СЛЕДИТЕ ЗА КАЗНЬЮ В СВОИХ ТЕЛЕФОНАХ).

СВОБОДЕ — СВОБОДУ. ПАЛАЧУ — СМЕРТЬ.

Запомните это, запишите это на множестве листков и каждую ночь развешивайте это по всему городу.

Готовы ли вы за месяц до моей казни каждый день переписывать это от руки красивыми печатными буквами и всякую ночь расклеивать это по всему городу?

Если «да», приступайте к расклейке листовок в ночь точно за месяц до казни. Каждая ночь — это сотни только ваших листовок, не так ли?

7. Готовы ли вы к предварительной изоляции тех, кто готов мешать вашему походу на Лобное место?

Если «да»,

1) заранее, начав сейчас же, а не «завтра», приступайте к установлению ИХ ВСЕХ, а потом уточняйте и сверяйте списки еженедельно, чтобы никого не пропустить: ни новых мешающих, ни старых, которые, допустим, вышли на пенсию, но готовы примкнуть к мешающим;

2) после установления их имён начинайте втираться к ним в доверие: станьте их хорошим знакомым, который полностью разделяет их страсть к водке, турпоходам, футболу, рыбной ловле или сбору грибов и ягод, чтобы в день казни имярека они были вне города, чтобы накануне, даже если им не очень хотелось, укатили с вами в велопоход, отправились на Оку удить вот такую плотву, уехали в глухие калужские леса собирать белые грибы, которых в этом году видимо-невидимо, и все такие огромные. Заранее озаботьтесь маршрутами, транспортом, палатками, бензином, билетами, отпусками, наживкой, корзинами, погодой, водкой и дамами лёгкого поведения в качестве универсального червяка. План изоляции мешающих должен быть абсолютно готов к исполнению за месяц до казни на Лобном месте.

8. СТАНЬТЕ ЛУЧШИМ ДРУГОМ ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ, СБОРУ ГРИБОВ ИЛИ ВОДКЕ ТОГО, КТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ НАШЕМУ ПОХОДУ НА ЛОБНОЕ МЕСТО, ЧТОБЫ ИЗОЛИРОВАТЬ МЕШАЮЩЕГО.

НЕПРЕМЕННО ОТПРАВЬТЕСЬ С НИМ НА РЫБАЛКУ, ПО ГРИБЫ ИЛИ НАЧНИТЕ ПИТЬ С НИМ ЗА ДЕНЬ ДО КАЗНИ ИМЯРЕКА.

СВОБОДЕ — СВОБОДУ. ПАЛАЧУ — СМЕРТЬ.

Запомните это, запишите это на множестве листков и каждую ночь развешивайте это по всему городу.

Вы готовы вывешивать эту листовку каждую ночь в течение полугода по всему городу?

Если «да», приступайте сегодня же.

9. Готовы ли вы к изготовлению и складированию по всему городу дреколья и щитов, чтобы вернуться из похода на Лобное вместе со щитом?

Если «да», возьмите за правило каждый день в течение полугода изготавливать по три единицы разнообразного дреколья и по щиту в неделю. Первый щит, который способен оградить вас от картечи, начните мастерить сегодня же. Первое дреколье должно быть готово к этому вечеру.

10. ДРЕКОЛЬЕ И ЩИТЫ.

В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУГОДА ПРИГОТОВИМ ИХ СТОЛЬКО, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ.

СВОБОДЕ — СВОБОДУ. ПАЛАЧУ — СМЕРТЬ.

Запомните это, запишите это на послыном множестве листков и каждую ночь в течение полугода развешивайте это по всему городу.

11. К осуществлению каких пунктов плана СВОБОДЫ вы готовы уже сегодня? Начнёте ли вы их выполнение уже сегодня?

Пожалуйста, перечислите на максимуме листов свои ДА-номера и расклейте их этой ночью по всему городу. (Если вы сделаете это — значит вы начали.)

12. Не кажется ли вам, что этот план абсолютно осуществим?

Если «да» — спасибо. Развесьте своё ДА по всему городу, пожалуйста.

Если «нет» — значит, я зря потратил на вас два предрассветных часа. Извините за беспокойство.

Конец анкеты.

Посмотреть на диковинную — расписную — себя ей удалось только вечером: сбросила всё до кружевного перед

зеркалом, обомлела, заулыбалась, всплакнула, сгоряча позвала Димку, осеклась: «Ой, погоди, не входи», поменяла кружевное на купальное, в котором ходила в бассейн, перепозвала сына: «Дим, поди-ка». Димка заглянул, обомлел, спрятал глаза, расхохотался. Аня тоже прыснула: «Извини, что без ласт».

Из узилища под всплывающим ясным солнышком потопала в депо: километры, которым всё равно не победить целый день сидения мягкого на жёстком. Кроме того, отводила не одну, а две смены: за себя и за ту оторву, которая загуляла. Причём вторую смену в чужом трамвае, на другом маршруте.

«Дим, перепиши всё это, пожалуйста, на бумагу. Красиво, не торопись. А потом я тебе всё-всё расскажу».

Добравшись до левой лодыжки, мальш заорал: «Мам, откуда он знает, как меня... как нас зовут?!»

Кирзовые котурны

Собака: князь чухонской тьмы и прочая поднял меня ночью с нар и упробил расцеловать его кирзовые сапоги.

«Лобзай, падла, — сказал палач, вломившись в застенек без охраны (застыла в дверях), но с кастетами на лапках и в лавровом венке, — ибо я князь чухонский и прочая».

Такой сон оборвал на полукадре: дама №1, исписанная первой главой, нашла, что ещё есть время, и мы... Обижен, не прошу; са-пож-ник.

Воочию палача видели раз в год, когда он, спустившись без страховки со стены и без страховки же, но в кирзовых сапогах, забравшись на усыпальницу, принимал танковый парад, а затем, безо всякого зазора на слёзы счастья, парад ракетный. Вживую, но в телефоне. Воочию, но с расстояния, превышающего рекорд мира по прицельной стрельбе из ручного стрелкового оружия, да с запасом, то есть с трибун, любующихся парадом. Танки спешили, пережёвывая

брусчатку; ракеты с полновесной БЧ, заглушая лучшие живые куски из «Нюрнбергских мастерзингеров», летели на голубиной высоте, имея неясные цели, а трибуны рукоплескали до первой крови. «У меня кровь», — сообщала в микрофон какая-нибудь нежная телевизионная шмара из приглашённых (за эти приглашения они выцарапывали друг дружке глаза; но в голубоглазых протезах смотрелись не хуже), и трибуны унимались. Без уважительной крови нельзя: подмётное письмо с сообщением о подозрении, и тягучие ночи в ожидании воронка «Хлеб». Не многие вынесут, не выбросив в окно белую простыню, а потом себя.

А тут — сам, на расстоянии вытянутой руки (а я, увы, без заточки) и с острым гуталиновым запахом едва ли не изо рта. И не хочешь, а узнаешь: двадцать пять лет зажигательных плакатов («Как сами, *ля?», «Захочу — и урою», «Чё ты сказал? повтори») на каждой нашей полуверсте во всех направлениях.

«Чем обязан, сволочь?» — спросил я, зевая.

«Ничем, сволочь, — ответил он, зевая. — Извини, ночь, зеваю... Захотел лично. Нравишься ты мне: единственный столько лет ходил с НЕНАВИЖУ в тыковке и даже не на манирлах. Чё, смелый? И пасть открываешь: никто не говорит мне “сволочь”, ты в курсе?»

«Плохо, что никто».

«Тоже так думаю: я бы добрее был, если б; я бы входил в положение разговорившегося — в твоё же я вхожу. Вона, сам к тебе припожаловал. Гордишься?»

«Нет».

«Тогда целуй котурны». Он сбросил на пол тогу. Вид меня рассмешил: трико вольного борца и кирзовые котурны. «Котурны-то зачем гуталинить?» — «Нет твоё дело. Привычка. Моя и моего чистильщика. Чистильщик, покажись».

В двери, растолкав охрану, застыл чистильщик. Такие если что и чистят, то не обувь; а если и чистят, то только зачищают за остальными; и чужие кишки потом с неделю переваливаются в их карманах, пока не придёт время стирки.

«Видел? Он намекает: надо поцеловать».

«Нагуталиненные?»

«Дался тебе этот гуталин. — Палач достал из-за трико носовой платок, плюнул в него и вытер им котурны. — Я жду. Хочешь, чтобы я начал отсчёт?»

«А что будет после отсчёта?»

«Поборемся. И я невзначай проведу удушающий приём».

«Нет уж». И я послал его трагическим кирзачам воздушный поцелуй: «Какому сначала?» — «Давай с правого». И я начал с правого, а закончил левым: «Тебе понравилось, сволочь?» — «Неплохо, сволочь. А почему целовал-то, сволочь?» — «У меня на тебя планы, сволочь» — «Точно. Планы. Пришить меня хочешь, сволочь. Пацаны, вы слышали? Этот смешной хочет запырять меня напильником до смерти. Смейтесь, пацаны». Пацаны воодушевлённо речуют.

«Тихо, пацаны. У меня неожиданная мысль: я же могу прямо сейчас выгрызть ему сердце и пойти пить с Колькой пиво. Колька, пойдёшь со мной кровавым? Зачем он мне сдался с его телепроцессом? Чтобы гугеноты... я правильно произнёс?.. псы-рыцари и пиндосы целовали мне нагуталиненные ноги? Да обойдусь». И он надвинулся на меня, изображая лапками в кастетах со стразами движение, ломающее шею.

«Со стразами?!» — удивился я.

«Со стразами, — заулыбался он. — Нравишься ты мне. Давай, говори. Я пришёл, чтобы лично услышать от тебя лично Подробность №2, которая позволит увеличить твоё фашистское дело на целый свирепый том... Если тебе страшно ночью, хочешь я здесь переночую?.. Или нет никакого заговора против меня? или ты просто, как все, пил кровь младенцев, выкраденных из песочницы из-под носа наших мамочек (которых тоже надо найти и наказать)?.. Нет, правда, ребята принесут раскладушку, и я полежу рядом до рассвета. Анекдоты про меня знаешь? Будешь рассказывать, а я засыпать... Ну же. Опять ждёшь отсчёта с ниточкой-и-иголочкой, сволочь?»

«А что после ниточки-и-иголочки, сволочь?»

«Удушающий. — И он саданул рукой о стенку застенка. Стенка едва выстояла. Стразы посыпались. — Пацаны, соберите».

«Боюсь удушающего, очень».

«Чё ты сказал? повтори».

«Боюсь».

«Признание! Давай, *ля. Хочу, чтобы псы-рыцари из одной жалости лобзали мне ноги, узнав, какая ты сволочь, как кроваво ты собирался меня пришить. Хочу этого больше, чем твоих завтрашних похорон. Или всё-таки поборемся? Или ты хочешь, чтобы я, выйдя из этой двери — кстати, пацаны, надо покрасить снаружи, повесить его именную табличку, мол, мой враг №1, и оббить с этой стороны резиной, а то он скоро головой начнёт биться, — зашёл в дверь к твоей недавней ночной бабе и запирял её напильником с твоими отпечатками?»

«Не трогай её, сволочь».

«Чёй-то? Она наша. Что хочу с ней — то и сделаю».

Ага, ваша.

«Хотя баба, конечно, дерьмовая. Поэтому впредь я требую более лучших. Два часа ныла, как она горячо обожает тебя, сволочь. Поэтому от меня шарахалась, как от ковидного. ТО ЕСТЬ НЕ ДАВАЛА. ТАК И НЕ ДАЛА. Сволочь, а не баба. Такая же сволочь, как ты, сволочь».

«Говорю же: наша».

«Дай ей медаль, сволочь. Саблю не давай».

«Дам ей медаль. Пацаны, напомните». Пацаны, начавшие красить снаружи дверь, вытянулись по струнке: «Непременно, ваше величество, князь чухонский и прочая, и прочая. “За отвагу” сойдёт?»

«Вполне. Красивая, тяжёлая. Можно играть в пристеночек. Доволен?»

«Нет».

Ага, ваша. Ваши воняют. А эта, эта...

«Кстати, сволочь. Я ведь чего пришёл-то... Ну, кроме вышеупомянутого и желания честно побороть тебя удушающим приёмом. Весь город, *ля, весь мой стольный город N, *ля, заклеен, *ля, свиньи какие-то, а не подданные... заклеен, *ля, листовками про рыбную ловлю, дреколье (НА МЕНЯ С ДРЕКОЛЬЕМ?!), какую-то свободу, мою, князя чухонского и прочая, смерть и слово «да». ДА-

ДА-ДА, даже усыпальницу не пожалели. Не твоих ли это рук дело, сволочь?»

«Моих пук тела?»

«Точно не твоих? Не ври мне, сволочь».

«Склочно не бултых?»

«Семь, шесть, пять, пять с ниточкой...»

«Это ты к чему, сволочь?»

«Это, сволочь, я к признанию №2».

«А».

«...пять с иголочкой...»

«Хорошо. Хорошо. Угомонись, сволочь. Пацаны, запишите, а то он не запомнит. Имени называть не буду, сами поймёте. Скажу лишь, что эта сволочь, не ты, сволочь, а другая сволочь, та, на которую я сейчас зачем-то подло стучу... ну как зачем... боюсь удушающего... Эта сволочь не вылезит из вашего телевизора, в котором безостановочно пляшет и поёт другими двуногими, которые, надо полагать, не все сволочи, просто оболванены, за что получает астрономические money, money, money always sunny in the rich man's world aha-ahaaa all the things i could do if i had a little money it's a rich man's world. Смекаете, сволочи? У этой сволочи с десяток квартир-сейфов, в которых она хранит свою астрономию. И делится этой астрономией с нами, чтобы я мог убить сволочь, которая стоит передо мной, во время моей казни. Без этой астрономии мне будет трудно. Адреса я назову. Но вы будьте осторожны: там кругом автоматчики, а внутри сейфов злые собаки...»

Через час после рассвета под воняющую свежей зелёной краской дверь камеры подсунули бумажку:

«Точно: враг. Точно: квартиры бабла. Никогда не видел столько бабла, а уж я повидал. С таким баблом убрать меня — раз плюнуть. Жди новую бабу. Ты заслужил, сволочь. Нравись ты мне, сволочь. НЕНАВИЖУ до сих пор только в твоей башке, хотя ты уже не в потоке. Какие хорошие у меня подданные. И какой отвратительный ты, сволочь.

Любящая тебя Сволочь и прочая, и прочая».

Глава 2

(Вдруг раскапризничился: что-то не хочу больше расстрела или повешения. Передумал. Лучше бы плаху или кол, а может, и крест, но он — долгов: сколько я проболтаюсь, пока не сдохну? что если неделю? А тут важна скорость: увидели, что я всё, — и всем стольным градом N двинулись на Лобное. Увидели — и вперёд. Не увидели — и назад, в винный и баиньки на следующую четверть века. Даже если попрошу вбить побольше — да ржавых до столбняка — гвоздей. Впрочем, один, только что из-под кузнечного молота, всегда можно вогнать в сердце... Решим это. Додумаем — и закатим истеричное требование, пообещав признание о рытье туннеля до Мумбаи. Разве это не украсит телепроцесс?)

Рассказала всё: как выхватили из стада, как инструктировали (что можно говорить, а о чём помалкивать), как отказалась от кокошника («Ну какой Новый год, вы с ума сошли?» — «А у него ёлка наряжена, а вы, стало быть, Снегурочка, стишки подобающие знаете?» — «Да плевать мне на его ёлку»), как он два часа скрипел вслепую пером (пером?), а она театрально ойкала и ахала, изображая «совсем другое». «И ведь ни одной, по-моему, ошибки». — И переполненный мальчик лёг на пол. «Ты чего, Дим?» — «Не могу стоять, мам, шатает, как после папиросы». — «Какой папиросы?» — «Да это давно было, забудь». — «Забудешь теперь, ага... Какой неправдоподобный день». — «Что будем делать, мам?»

Модильяновские — загадочный человек в потёмках рассчитал верно — не подводят, просто не умеют, не дано им: «Что-то будем, Дим, — сказала Аня. — План-то неожиданный, но настоящий, не находишь? Зэка жалко, он мне пришёлся, но описано — дело. Сами бы мы до такого никогда не...» — «Я могу...» — «Ничего ты не можешь, ты дитя». И она, надев перчатки, села писать первую листовку: «Свободе — свободу». «Почему левой, мам?» — «По брюссельской капусте». — «А, понял. А отпечатки?» — «Протёрла лист

водкой». — «Как меня, когда я температуру?» За час они заполнили «палачом», «смертью» и «дважды свободой» сто бумажек. «Полачу? полачу?! Это какая? Это уже третья!» — «Прости, мам. Сейчас перепишу». — «Не прощу. “По-моему, без ошибок”, о да, знаток. Троечник». — «Четвёрчник».

«Где бы мне теперь отыскать окский песок...» Сами бы они никогда-никогда, но: подумав, взялись за руки и отправились в чужой дальний район, оставив телефоны дома. На метро с пересадкой, потом автобусом, укрыв лица кепками и медицинскими масками, она в старушечьем пальто и с палочкой, а мальчик... в её детском платье из-под её малиновой курточки с вышитым на спине Винни-Пухом. Она, бормоча невесть откуда впившееся в язык «Ой, хочу чаю, хочу чаю, чаю кипяченого. Ой, не мажора я люблю, а политзаклужённого». А мальчик, то есть девочка, то и дело, устав сидеть, устав шагать, вынимал из кармана прыгалки и творил с ними чудеса: на одной ножке в туфельке — да перекрещивая скакалку. Народ аплодировал. Девочка с Винни-Пухом раскланивался.

Спустя сутки листовок в N прибавилось. Ещё через сутки их стало больше. На четвёртые сутки их было много больше. «С чего ты взял?» — спросила Аня. — «Походил по городу». — «Где походил?» — «Не бойся, в наши районы ни ногой». — «Неужели не в наших?» — «О них и говорю. Похоже на геометрическую прогрессию». — «И с каким же знаменателем, умник? “Много”?» — «Предстоит высчитать». — «А витрины заклеивают?» — «Их — особенно». — «А не рано ли они начали?» — «Могут устать и забиться в норки?» — «Увы». — «Но могут и другое: не дожидаться его казни». — «Способны — если их... нас направлять...»

Из потока стали изымать чаще обычного: брали тех, в чьих головах носилось слово «листовки». Носилось массово — массово и выхватывали, лишая заводы первой смены, а опричников новых галифе, потому что все швеи во всех ателье отчего-то думали только об этих бумажках с печатными буквами на их витринах, которые отняли у

них законный солнечный свет. А однажды забрали целый конный полк жандармов, налетевший на поток, чтобы засечь нагайками думающих о. Всех изъятых, без каких бы то ни было исключений (впрочем, лошадей пожалели), пытали на дыбе — а к вечеру отпускали, уже инвалидами. В отместку инвалиды целыми днями писали листовки «Палачу — смерть. Или хотя бы инвалидность первой группы», потом выезжали на инвалидках в горы, откуда запускали голубков, свёрнутых из наработанных листовок. Голубки, умело пользуясь восходящими потоками воздуха, добирались до самых до окраин, где расклеивались на всех вертикальных плоскостях детьми неподсудного дошкольного возраста. Да с лакировочкой, после которой вертикальную плоскость проще было взорвать. Подорвав несколько окраин, верхи придумали «драпировать» стенки или витрины цементной шубой и ставить рядом часовых. Часовые, впрочем, не приживались: слово, мгновенно вычеркнутое из всех словарей (натурально: библиотекари, продавцы и программисты пальцы сломали, вымарывая их), но однако ж составляющее суть их службы, то и дело проникало под их скальпы, и из часовых к вечеру делали инвалидов, кои, озлобившись, но не отказавшись от положенной инвалидки, строчили листовки, свёртывали их в медленные кукурузники и особенно быстрые «Конкорды», на которых писали печатными буквами «Палачу — палаческое», выкатывали в горы со стаями бумажных авионов и запускали их в сторону стольного града N,

потоку которого быстро надоело, что его третируют, и он научился таить листовки в своих головах, заменяя их на прокламации. Прокламации продержались несколько недель, но и они были раскушены. Теперь поток думал только о 大字报 — и был неодолим: журчал слово 大字报 гордо, круглосуточно, повсеместно, посмеиваясь. И пока 大字报 добиралось до окраин, окраины успели окоротить: подсудный возраст снизили «лет до трёх» (именно так: «лет до трёх, на усмотрение начальников»). Трёхлеток, отважившихся повесить листовку, пытали на дыбе и вечером передавали родителям. Трёхлетние

инвалиды оказались самыми оскорблёнными: получив положенную инвалидку, они орали на родителей самыми многоэтажными словами, чтобы те строчили листовки не покладая рук, после чего бились в падучей, чтобы их везли на красивенькой машинке клеить листовки, — и, несмотря на сломанные позвоночники и вывороченные руки, клеили их сами, не доверяя родителям, — и нисколько не таясь. Продержавшись месяцев пять без повторного наказания трёхлеток, начальники ввели не только их повторное, но и все последующие наказания в виде изъятия до вечера для пыток на дыбе. Вывернув в первый раз ручки, во второй раз им ломали позвононички; сломав в первый раз позвононичек, им выворачивали с корнем ручки; сломав позвононичек и вывернув наизнанку ручки, трёхлеткам коверкали ножки, но они не сдавались: теперь уже на трёх (за каждое калечество) серпуховских инвалидках гнали в горы, где выпускали на волю бумажные Ту-144, которые, долетев до стольного града N, заваливали его своими измождёнными фюзеляжами. На них набрасывались столичные трёхлетки, и...

НЕНАВИЖУ? — Ну разумеется. Генератор неслучайных изъятий, хитро написанный мною, человеком-которого-казнят в день-казни-палача, знал только одно НЕНАВИЖУ. Если, конечно, не врал умышленно и изошрённо, о чём я знаю наверняка, а вы можете только догадываться. Теперь не то: НЕНАВИЖУ стало таким же распространённым, как 大字报, с той разницей, что за него хватали как миленьких и до темноты беспрекословно пытали на дыбе. Граду N, пережившему и поборовшему слово «листочка», это было поперёк горла, и он, договорившись, поменял его на ВАМ ЖОПА. Калечить за ВАМ ЖОПУ начали через неделю. ВАМ ЖОПУ сменил АБАЖУР, который продержался две недели. Слово АБАЖУР сменило слово АБАЗ, торчавшее в головах три недели. АБАЗ сменил АБАК, успешно морочивший генератор неслучайных изъятий четыре недели. АБАК сменил АББАТ, которым пользовались вместо НЕНАВИЖУ пять недель. АББАТ сменила АББРЕВИАТУРА, прожившая

шесть недель. В конце концов, палач выступил с обращением «Дорогие братья и сёстры», которое запретило весь словарь и повелело МОЛЧАТЬ, ПАДЛЫ, НЫНЕ И ПРИСНО И ВО ВЕКИ ВЕКОВ. В остальном же подданные были свободны.

И они продолжили расклеивать листовки.

Я пишу это на весьма **кустодиевской даме** №2 (какую захотел, такую и привели; это они умеют; посмотрим, что из неё выйдет). Сейчас я поставлю точку, после чего мы успеем выдуть по паре полулитровых чашек чая из заждавшегося самовара, потом петухи прокричат: «Рассвет, рассвет, рассвет», и она удалится восвояси.

Шизгара, или Устрашающее повешение №18

Жизнь сама по себе и плевать хотела, зато полнится интерпретациями.

Вместо одной дамы с двумя крупными собаками, одна на поводке, другая рядом, но вольная, вдруг возникает дама №2, которую я, разумеется, трактую как первую, но несколько преобразившуюся: та была сухой, с режущим взглядом, леодоколистой (не уходившей с маршрута), в кепке и с дворнягами Пришибленной, но Обезьянистой (способной убежать за горизонт из одного чувства юркости), и Обезьянистой, но Собранной (воркующей лапами и хвостом в двух аршинах от начальницы, не дальше), — эта же округлилась (и когда успела?), взыграв лицом и обретя волоокость, приделась в душегрейное, но цветное ненашего пошива и приукрасила собак: размеры те же, поведение сходное (те прыгали в кольцо на детской площадке: одна сама, другая после окрика, не слезая с поводка, который потом приходилось перекладывать из

правой в левую и обратно, — и эти скачут, только через скамейки, будто лошади, увидевшие пластмассового зайца), а колер и шерстистость другие. Я толкую это так: дама №2, которая вдруг обзавелась собачками, не захотела терпеть даму №1 на своём маршруте — и убрала её: то ли дала ей копейчек, чтобы та не маячила, то ли сходила к человеку, который теперь не слазит с детских качелей, а когда-то убирал за деньги. А в остальном новое трио равно старому, только с вариациями, которые я играю на своей скамейке в объятиях портвейна. Если сменю марку — наверняка на собачью тропу выйдет кто-то третий с псами, которых мы всё равно не различаем в лицо... Но тут оба трио появляются передо мной разом, и я уже не знаю, что думать... А, да: *того* портвейна сегодня не было, и я взял *другой*. Тот и Другой — отличные марки, которые украшают жизнь толкованиями. Жизнь, она же Господь, таясь за спиной (никогда не показывается), гладит меня по головке. Я переполняюсь чувством и спрашиваю: «Налить? Но стакан у меня один». Господь кладёт руку на моё плечо. Рука тяжела, хотя сразу понятно, что женская, в ней Белое море нежности, и кровь стучит в ней густо и чуть негодуяще. Я отставляю стакан, на который тут же налетают грачи, и кладу свою руку на его длань. Господь, или Жизнь, выпрастывает шуйцу из-под моей десницы,

и в застенок вламываются палач и клеветы, словно собаки на поводках и вольные (те, что на поводке, кусают больше). «Чё лежать-то? — кричу я с перепугу. — Нет у меня никакого нарезного. Вы совсем осатанели?» — «Всё, ты мне надоел. Будет тебе казнь бессмысленная, беспросветная, очередная и без плясовых уверений планетки в твоём душегубстве. Сам бросишь монетку или мне?» Я бросаю пятак, и он падает на ребро. «Значит, решим на месте, — говорит палач. — Готовьте его и тащите на цепи на Лобное. Будет упираться — бейте кнутами. Кнуты не помогут — сапогами, но пыром». И он вешает на шею тамбурмажора свой жестяной барабан и вырывает у него жезл: «Погнали в моём затейливом ритме». Я кричу, что не хочу расстрела (или повешения), но готов к плахе или колу, а он кричит, что

пока не готов к плахе или колу, ибо заточен под повешение (или расстрел), а плаху и кол не изучал, ну как не изучал... не знает всех тонкостей, и топор не наточен, и кол не затёсан, ибо осина ещё не срублена, а топор не отнят у мясника, но он непременно подумает о моём неожиданном предложении, если мне удастся убедить его в некоем животрепещущем вопросе. «А, так это очередной устрашающий расстрел (или повешение)», — восклицаю я. — «Отнюдь, — кричит он обиженно. — Захочу и будет окончательный. Не зли меня, сволочь. Я могу сорваться и испортить весь план». — «Да не буду я упираться. Хватит щёлкать кнутами. Ушам больно».

По дороге меня стригут-и-бреют со всей любезностью, даже не окровавив, ибо так сказано в Уложении: «Казнимый имеет неоспоримое право на стрижку, брижку и, по словам М. Лапирова, с милой поцелуйчики». Под бокс и дочиста, никаких поэтических баков. Для поцелуйчиков подсовывают первую попавшуюся тюремщицу, я кривлюсь; хватают первую же попавшуюся на улице, — и я доволен: милая. «Учительница, не так ли?» — «Как вы догадались?» — «Пение?» — «Как вы догадались?!» По дороге же меня наряжают, ибо я в своём праве требовать любые одежды; убирают в обдристанное исподнее, но исподнее царское (вот же мне вдруг втемяшилось): «Портки-то хоть подлинные?» — «Из музея». — «И какой же государь император ходил в этом ужасе?» — «Иван Васильевич». — «О господи. Срам-то какой. Это что же, века минули, а постирать всё недосуг?» — «Так ближе к правде жизни». — «Ну, это ваша интерпретация...» По дороге же я, ибо вправе, возжелал жареной картошечки с лучком, — по дороге же блюдо спроворили и блюдом накормили; тряско, но объедение, никогда так вкусно не. Наконец, по дороге на Лобное я, согласно Уложению, «мог петь неограниченное время любой репертуар в сопровождении», и я, попросив солистов, оркестр и кордебалет Большого, затянул Шизгару: «A goddess on a mountain top / Was burning like a silver flame / The summit of beauty and love / And Venus was her name...

ШИЗГАРА!

Yeah baby ШИЗГАРА!

*Well I'm your Venus
I'm your fire at your desire
Well I'm your Venus
I'm your fire at your desire».*

Лобное терпеливо ждало, когда я угомонюсь, а я и не собирался, ибо некуда мне теперь спешить и песня не шняга — а на века: ШИЗГАРА: ШИЗГАРА! / Yeah baby ШИЗГАРА! Солисты не пели, но жили ШИЗГАРОЙ, орали её чистым сердцем; полубольшой (не все нашли по дороге) симфонический выкладывался до изнеможения, а кордебалет вдруг взял и переплюнул Болливуд, переплюнул на целую «Зиту и Гиту», или даже дальше, я же в припадочном запале отнял у дирижёра палочку и. И смиренное, послушное, спешно привезённое на автобусах Лобное, лишившее несколько танковых заводов первой смены, а солдат — галифе, сдалось: подхватило, и ШИЗГАРА, прокатившись по всему стольному N, понеслась к окраинам, чтобы окраинным эхом вернуться назад и накрыть город удвоенными мощью и чувством. Самолёты... даже спешащие на задание истребители... останавливались в небе над Лобным, и я слышал, как пилоты, экипажи и пассажиры орали ШИЗГАРУ: «A goddess on a mountain top / Was burning like a silver flame... ШИЗГАРА! / Yeah baby ШИЗГАРА!», и птицы в небе, проникнувшись нашим упоением, сгрудившись, перепевали и самолёты, и Лобное!.. Это длилось... бесконечно, несколько умопомрачительных часов, и я даже вновь почти полюбил Жизнь, то есть Господа. А потом была пара часов рукоплесканий. «И ещё, — надрывался я с искренностью только что родившегося дитяти, — и ещё, и ещё один аплодисман, хорошие мои. Мы... вы — заслужили. ШИЗГАРА!» — И Лобное, и весь стольный N, и все зависшие самолёты, и все стольноградские грачи, сбившись на небе в надпись ШИЗГАРА, подхватывали: «Yeah baby ШИЗГАРА!» И снова нескончаемый плеск рук,

во время которого палач спрыгнул с Лобного, где всю ШИЗГАРУ и весь аплодисман спал в кресле, — и умело ткнул меня в бок заточкой, не попав ни в одну печень, ни в одну

почку, и очередное «и ещё раз» вышло захлебнувшимся комом: «и борщок страз».

«Ты сказал “страз”, сволочь? Нет, заточка без страз. Обычная, наша, скифская».

И вытянул из рукава мою модильяновку. Анну. Аню. И ткнул предлинным пальцем в её мальчишку Димку, который стоял подле Лобного в его первом круге.

«Вот эта баба, мои подданные, недавно провела ночь вот с этой сволочью. — И ткнул меня заточкой без страз бережно и метко, так, чтобы внутри меня не растеклась ни одна почка. — А потом весь мой стольный град N стал белеть подлыми листовками. ОНА ВИНОВАТА, МОИ ПОДДАННЫЕ? Как считаете? Я тоже не знаю. Может, она ни ухом ни симпатичным рылом. Наверное. Даже наверняка. Но она, ОНА СДОХНЕТ СЕГОДНЯ ВМЕСТО ЭТОЙ СВОЛОЧИ, в назидание».

И он пырнул меня в третий раз. Боли я уже не чувствовал. «А теперь, мои подданные, мы проголосуем, что я с ней сделаю: расстреляю — или повешу. КТО ЗА ТО, ЧТОБЫ РАССТРЕЛЯТЬ? Если не поднимите руки, покоцаю всех и каждого».

И вся первая смена нескольких танковых заводов стольного города N подняла руки за расстрел.

«КТО ЗА ТО, ЧТОБЫ ПОВЕСИТЬ БАБУ?» И все закройщики, швеи, портные и модельеры из нескольких стольных ателье, шьющих для родины галифе, подняли руки за повешение.

И только птицы, дурочки, кричали с неба: «Не надо, что вы делаете», — и это слышали все.

«Ну-с, Аня... Её Аня зовут. Ну-с, Анечка, это твои листовочки? В последний раз, дурочка, спрашиваю перед

ПОВЕШЕНИЕМ, ибо меньшинство за ПОВЕШЕНИЕ, а я всегда на стороне меньшинства, когда расстреливаю (или вешаю). Нет, не твои? Она отнекивается, мои подданные. Говорит, что не её. Вот и ладушки».

И палач опять сиганул с Лобного, чтобы морской походочкой подгрести к первому кругу зрителей — и выхватить из него первую попавшуюся даму. «Не портниха?» — «Закройщица». И втащил её на Лобное. И с любовью повесил. «А эта нам ещё пригодится. Всё, мои подданные, расходимся. Полдня на глупости потеряли. Сколько галифе можно было собрать. Сколько танков пошить».

Чаепитие в N

Ну а что кустодиевка? Она видела это в телефоне, она сложила и получила «4» — и, отыскав адрес модильяновки, с баранками на шее и арбузом в руках вышла в поход. «Очевидно же, что на рыбалку, но почему с арбузом и без снастей?» — спрашивали в потоке. Задрапированная ватником, ватными же штанами и высокими валенками, она отбрёхивалась: «Арбуз — наживка, баранки — обед, снасти — зимние, крошечные, лежат на теле. Отвалите, добрые люди. По-доброму прошу».

«Я туда попала?» — спросила она, когда мальчик открыл дверь и задал главный вопрос: «Кто там?» — «Это я. А это ты?» — «Это я», — ответил мальчик со сломанной рукой. «Они?» — спросила кустодиевка. «Они», — ответил он. — «А чего это они?» — спросила она. Мальчик достал из кармана блокнот и написал в нём: «Спросили, какой рукой я пишу. Я сказал, что левой. Вот они её и сломали. В двух местах. Левшам всегда достаётся :-). Она взяла у мальчика ручку: «Листовочки?» — «Листовочки», — написал он. «А

сам правой?» — «А сам правша». — «Нерадивые: нет бы проверить». — «Именно». «Тогда давай, милая деточка, есть арбуз и пить чай с баранками. Заварка есть? Самовар ещё не выбросили?» — вскричала она весело. — «Осталась и остался». — «Милый мой», — заплакала она. — «Вы чего?» — «Я о маме», — написала она в блокноте. — «А я уже не могу: всё выплакал», — написал он. — «Всё, пошла ставить чай». — И она пошла ставить чай.

«А вы кто?» — спросил он в блокноте, оторвавшись от уроков и выйдя из комнаты. — «Кустодиевка». — «А моя мама, как оказалось, модильяновка». — «Да уж догадалась». «А так вы кто?» — «А так я и есть кустодиевка: сижу в народном море у самовара и дую чай. Sir, would you like to have tea with a genuine Kustodiev woman? Да with bagels. Да with raspberry jam. Yes, for a pleasant old-fashioned conversation...» — «How much?» — «Чего “сколько”?» — «За чай с вами?» — «А, пустяки: three rubles, but only with one piece of paper. А по вечерам я “наша Венера”: натурщица в рисовальном институте». — «Чего?» — «Рисуют меня». — «Раздетую, что ли?» — «Бывает».

Чай был роскошным. Баранки были свежайшими. Арбуз был круглым, но зимним: водянистым, вряд ли настоящим, хотя та-а-ак пах. Ах. Кустодиевка (она написала в блокноте: «Никаких имён». Он написал: «Понимаю». — «Впрочем, можешь обозвать меня какой-нибудь тётей Зиной») сняла ватное, под которым оказалось синее платье из тяжёлого шёлка с открытой грудью, белыми кружевами и палехской брошкой. А под треугом скрывалась этакая чалма из того же зимнего шёлка. «Чай разливается в полулитровые чашки, но пьётся из маленького блюдца, — объяснила она свои принципы. — Тащи блюдца, малый, а то я не нашла». И они опять перешли на письменный разговор.

«Что это на вас... написано? — осторожно спросил мальчик. — На маме, когда она вернулась от...» — «И на маме тоже? Значит, я всё правильно поняла. И что же придурочный мессия начинкал на твоей маме?» — «Первую

главу. А на вас, кажется, вторая. Я прочёл это на, извините, вашей груди. Извините, но она у вас декольтированная». — «Издержки производства, — расхохоталась она письменно. — Ты спишешь это с меня? Очень хочу прочитать первую и сложить её со своей». — «Конечно. Я уже привык, — рассмеялся мальчик. — Хорошо, что они сломали левую. Она мне почти не нужна». Тут она расплакалась по-настоящему, и он по-настоящему же заверещал: «Я же говорил, что чашка старая, а кипяток огненный. Не выдержала, лопнула. Вы не обварились?» — «Пустяки. Однажды один пьяный *наш* опрокинул на меня семиведёрный самовар, — вздохнула дама №2. — Где у тебя ведро, тряпка, веник, совок и пантенол, ненаглядное дитя?» — «Вот почему говорят, что в здоровом теле здоровый дух!» — воскликнул мальчик. И они закрылись в ванной комнате, чтобы включить воду на всю катушку и переписать с кустодиевки Главу 2.

«Вы это видели? — шепнул мальчик, оторвавшись от записей. — Как они маму и ту тётю...» — «Это видели все», — одними губами ответила она, и они беззвучно разрыдались, повторяя друг за другом одно и то же слово: **НЕНАВИЖУ, НЕНАВИЖУ, НЕНАВИЖУ, НЕНАВИЖУ...** «А вы листовки уже писали?» — «Угу». — «И какая у вас любименькая?» — «Про СВОБОДУ и палача». — «А где вешали?» — «В метро, оставшись в нём на ночь. Ты знал, что они тушат свет, когда метро отдыхает от нас?» — «Не-а». — «Не знаешь, где можно найти окский песок?» — «Знаю: немного осталось от мамы. Мне кажется, это вообще всё, что от неё осталось. Хотя в шкафу висят платья...»

«Ну всё, милое дитя, не скучай, делай уроки, учись на отл., спасибо, что съел все мои котлеты, позвони, когда проголодаешься, воду с пола вытерла, осколки подобрала, чашку склеила, испытаем её в следующий раз, лёгкий ожог успешно вылечила, пошла я, что ли...» — «Спасибо, тётя Зина, что заглянули с котлетами! — заорал мальчик. — Торжественно обещаю вам написать диктант на отл. Заходите ещё. Но только с пельменями». — «Есть с

пельменями, славный мальчик». И славный мальчик от всей души хлопнул входной дверью: «Противная же тётка. Котлеты какие-то. Терпеть их не могу...»

И они на цыпочках прошли в комнату, чтобы поговорить в блокноте о двух главах.

«А вас парни рисуют?» — спросил мальчик. — «Не отвлекайся, пожалуйста. Итак, что мы имеем... Мы имеем, во-первых то, что тебя зовут Димочкой. Очень приятно, Дима. А я Инесса». — «Здравствуйте, тётя Инесса». — «Здравствуйте-здравствуйте». — «Я вот только не понял, откуда он узнал...» — «Так придурочный, но мессия же». — «Думаете?» — «Почему-то уверена. Как последняя дура, уверена. Зря он, что ли, о кресте рассуждает...» — «И я в самом деле упал, когда мама всё рассказала. Вот откуда он?» — «Далее. Будущее “прекрасно”: листовки не умрут (это действительно хорошая новость... или он хочет, чтобы мы в это верили, а потому проповедует... духоподъёмное), трёхлетки погибнут и ВСЕМ МОЛЧАТЬ. Интересно, как быстро у нас отомрут языки... Или листовки опередят?.. Короче говоря, продолжаем в том же духе: клеим любименькие листовки под покровом ночи все полгода. Хотя в полгода я не верю. ЭТО случится раньше». — «Тётя Инесса, они собираются устанавливать на улицах прожектора и вышки с пулемётами. Слышал сегодня по радио». — «А мы их из рогаток». — «Пулемётчиков?» — «Так дети же. Балуются. Родителям — а-та-та, а мальчишки только налягут на рогатки». — «А они снизят неподсудный возраст до двух лет». — «А мы научим двухлетних». — «Не завирайтесь, тётя Инесса». — «Завираюсь, правда... И отменяют бумагу». — «А мы станем живописцами. Потому что жизнь — всюду и всегда, тётя Зина». — «Сам ты тётязина. Но мессия наш всё-таки бриан. Головастый...» — «Иногда ум — это просто трусость, тётя Инесса». — «Хочешь со мной?» — «А вдруг мама вернётся? А вдруг сюда заглянет дама №3?» — «Действительно».

И она, заставив мальчика выучить её телефон, бесшумно, на полусогнутых покинула квартиру: «Пошла

смываться :-)). А через минуту в дверь позвонили: «Ой, вернулась с полдороги — забыла у тебя зонт!» — «Сейчас принесу, тётъзин!» — «Ещё раз спасибо за чай, Димочка». И она наконец-то отчалила, отчаянно саданув подъездной дверью. Некто крупный и в валенках отправился на рыбалку. Говорят, подлёдный лов этой весной дарит непередаваемые уловы вот такенной рыбы, но льдины то и дело уносит по реке в Белое море.

Сегодня рисовальный институт. Инессу в нём любят. А один мальчик, которого все почему-то называют по имени-отчеству, Борис Михайлович, даже обожает: однажды он написал ей стишок. Она выучила его наизусть, чтобы читать в ночи для души и за трёхрублёвым чаем разомлевшим иностранцам:

*Мила, как обычно, рамы мыла,
утки госпитальные, очки;
Клава, разумеется, «на мыло», —
на «Динамо» выла и зрачки
грубыми руками натирала,
если мяч, а он всегда-всегда,
улетал; Инесса же сначала
с Милой мыла, с Клавой прохриста
(«Радижехриста, урод, в ворота»)
выла — а потом сломалась и:
у Инессы новая работа,
на Инессу «мальчики мои»,
мальчики её, её девицы,
курят, ноги длинные, цвет влас
самый непредвиденный, дивиться
ходят за станками, чтобы глаз
не сводить с Инессы, пока Мона,
кружевница, Жанна Самари,
Дама с горностаем, Паркинсона
дрожь и корчи около Твери
Дюденёвой рати (Тверь не Муром,
видит око город, да неймёт*

зуб гнилой ордынский) на́ смех курам
быть переставали, и зачёт
ставил её мальчикам и этим,
с тощими ногами, сам Ван Гог,
чтобы издеваться: «Сами сцедим
(молоко из сисек». — «Я прыг-скок,
я сейчас сцежу, мои мальчишки». —
«Ты уж постарайся — у неё,
у Данаи, грудки, а не лишки»),
«не чешишь», «замёрзни», «комарьё
пусть летает, не гоняй», «поправься»,
«похудей», «забыла, что ты труп?»,
«чёрной, ты сегодня чёрной расы!
(гуталином)», «дайте же ей рупь,
чтобы улыбалась, как сорока»,
«прозвенит звонок — хватай батон
и кусай (шучу!)», «и слёз немного,
и капель их не звонка́, пардон;
подзатыльник дать, чтобы рыдала?
я шучу!»); Инесса — всяких поз
демонстратор; а Ван Гог — кидала:
спит, а в дали Арля не увёз.

И те, мечтательно выслушав, вскидываются и произносят заветное: «Tea, Russian Venus and poetry». Мол, это всё, что у нас есть. А потом просят научить их говорить это на нашем: «Chay, russkaya Venera i stikhi. Right? Am I pronouncing it correctly?» И она зачем-то спорит: «What about the soup? why did you forget about the soup?»

Дался ей этот суп.

«Что же я, дура, мальчику супа не принесла... Сегодня же сварю и завтра же накормлю...» А потом она в очередной раз задумалась о Ван Гоге: поехала бы она с этим сумасшедшим в Арль, зная, чем всё кончится.

Сегодняшний ответ: как миленькая, поехала бы.

Бомбей, или Самооговор №2

Двуногий из телевизора, которого я оговорил... Сварили ли из него кофе-в-постель для палача? Хвалил ли палач, натягивая галифе, этот кофе за особенно жёлтый вкус?

Привиделись ли ему в первом глотке притопы Бывшего Интеллигентного Человека под «Барыню», когда бича попросили служить: приплясывая, подпрыгивать на задних лапках, чтобы достать висящий в воздухе золотой (действительно золотой, и высокопробный) фаллос пяти см в диаметре и в эрегированной растяжке, который перейдёт в его обладание, но вскоре будет отнят ментами и распилен на равные доли, потому что у мента есть начальники, а у начальников стоящие на их страже урки? Узнал ли палач в последнем глотке утренней чашки хруст переломанного автоматчика, защитника квартирных авуаров, под хрип собаки, которая легла на светошумовую гранату, брошенную в квартиру-сейф?.. Газировка из меня (ибо заслуживаю), ради которой стоит наладить производство автоматов, чтобы заставить ими весь стольный N, — какой бы она была? Может ли она обладать затягивающим детским вкусом, имея такие сволочные ингредиенты, как сдача не причастного, у которого наверняка тележка жён и вагон деточек, и из одной деточки запросто может выкристаллизироваться Иван Алексеевич или Альберт Германович? Но: кто же тогда причастен, если не этот кусок кофе, согнувший ТВ-вглядывателей ниже тараканного плиттуса и чешущий пах в прямом эфире, потому что у него чешется, под плескания верхними лапами о ляжки в студии и снаружи, от которых хочется повеситься? За поворотом в глубине лесного лога... за поворотом в глубине лесного лога... за поворотом в глубине лесного лога... Вот и вешался бы, а не оставлял без заботливого отца-триллиардера ребёночка, который зачем-то отправит нас в предальний космос. Какое же скотство я совершил...

Во искупление довожу до вашего сведения, что сволочь (сущ., одушевл., жен. р.) из телевизора удавилась бы, но не дала мне денюжек на организацию вашего убийства

во время моей казни в прямом эфире. Отпустите её немедленно, как бы больно вы ей уже ни сделали. А если поздно — оставьте в покое баян, на котором, надев галифе, наигрываете «Марш энтузиастов» (слова А. Д’Актиля), выплуньте последний глоток кофе, сваренный из неё, — и поделитесь отнятым: сделайте первый взнос в наше правое дело вашего изведения со свету. Я — виноват, но сейчас заглажу. Так, впрочем, и оставшись виноватым двуногим скотом перед отражением в зеркале (отныне, если мне удастся взглянуть в зеркало, я буду плевать в него густой слюной со вкусом весенней дорожной лужи города N. Знаете ли вы, что это за вкус? — крови, вытекшей изо рта сбитого насмерть писателя крепко за семьдесят).

Лаз из Мумбаи в стольный град N не досужая шутка, мой наполеонистый палач.

Не до, а из. В этом великая разница и высокий подпольный смысл. Лаз до копается тоже, но только как проход сокрытия лаза из. Идущий на юг до-туннель халатен, немного заброшен, но при желании в нём можно отыскать несколько трупов и спрятанную несправедную валюту: потерянную мною трёхрублёвую монетку, которую я заработал, продав на окрестном рынке собранные с утра белые; это — улика, которая разговорит глухими замогильными голосами те трупы, которые вы туда положите: «Он нанял нас, заманив бомбейскими сказками, но не расплатился, а грибные супы и сливки, которые он сцеживал у колхозных коров, были пересолёнными и не той жирности; пусть он сам попробует прорыть пять тысяч км на таком хрючеве». До-лаз можно красиво снять, похоронив в нём съёмочную группу, если она не поверит, а вторую наградить, ибо не поскупится на компьютерную графику. Лаз до тайно заканчивается на соседнем дачном участке, что, при желании, позволяет воровать с него клубнику.

Лаз из начинается в лазе до, просто надо повернуться на север и увидеть перед собой грубо сколоченную круглую деревянную дверь, за которой откроется картофельный и свекольный погреб. Семь шагов на полусогнутых — и вы,

возможно, заметите ещё одну дверь: она густо вымазана местной глиной и ведёт в, гм, неглубокий и, увы, деревянный бункер, в котором, вероятно, не удастся отсидеться во время атомной бомбардировки.

Место проникновения в оба мумбайских лаза — сарай посреди участка №186 СНТ «Такое-то», который выглядит, как классический деревенский туалет, только очко закрыто круглой дверкой и совсем не очко (умоляю, не загадьте).

В углу участка — горка приличных размеров, на вершине вырос дубок. С горки можно кататься на санках в своё и окрестных детей удовольствие. Это отвал из обоих мумбайских туннелей. Остальная земля была тайно вывезена на тачках в овраги, где пустила свои земляные корни и неплохо себя чувствует.

Участок перешёл ко мне в 90-х от родственницы, старой троцкистки и агента, вероятно, трёх разведок, в завещании которой оговорено специально: «Картошка картошкой, но если ты не начнёшь рыть в сторону благодатной Индии, пеняй на себя». Соревнуясь с кротами, друг дружкой и безденежьем 90-х, мы с друзьями вырыли эти лазы за одно весьма винное лето, чтобы проникать на чужбину, не предъявляя паспортов, и безо всяких досмотров проносить на родину взрывчатку и длинноствольное нарезное огнестрельное оружие.

Оба моих товарища, не успев спиться, погибли смертью храбрых в туннелях, когда их преследовала конная мумбайская охранка, подорвав весь наличный запас тринитротолуола. Вызванное этим подвигом большое мумбайское землетрясение окончательно разрушило оба лаза, не тронув лишь то, что от них осталось: бункер, погреб и «клубничный» ход на участок №184, который был вырыт из одного лишь виннопитейного задора и загребущего желания чужой вкусной ягоды с кулак (а Шарика... [или Рекса?... убей, не помню], чтобы помалкивал, мы, как это всегда бывает, прикормили вялеными на солнце кротами из туннелей).

К сожалению, вся взрывчатка, которую мы копили для покушения на вас, моё чухонское палачество, погребена. А оружие, обменянное на мумбайском колхозном рынке на белые грибы из калужских чащоб, по утру при

ближайшем рассмотрении оказалось пластмассовым. Но — исключительно красивым. А мы так на него рассчитывали.

Кроме того, за семнадцать ведер калужских опят на том же рынке мы выцганили ноу-хау-аппарат для печатания инвалюты с запасом краски и бумаги на тысячу банкнот по одной рупии, который отказался работать, напечатав всего семь рупий. При разборке штуковины выяснилось, что она не имеет емкостей ни для краски, ни для бумаги, а по нажатию красивой красной кнопки выплёвывает заложенные в неё настоящие рупии, коих было всего семь штук (не считая одной «рекламной», которой нас угостили на рынке).

Также доношу, что индийская женщина по имени Крити Санон из касты вайшьи, которую мы заманили к себе для огородной работы, показала себя с лучшей стороны, вырастив невиданный урожай картошки и брюквы. После того как я отказался на ней жениться, она вернулась домой, едва успев до трагического подрыва туннелей. С особенно тяжёлым сердцем сообщаю, что дорогая Крити увела с собой троих детей, которых мы, молодые, красивые и горячие, нажили совместно в то удивительное лето. Где-то там, на дачке, была её телеграмма: *पुरयि, मैने तीन बच्चाँ को जन्म दिया, सभी लड़कियाँ, जन्मके नाम इगोरेश्का, इगोरयुनेच्का और गोरेम है।*

Мой палач, за эти почти окончательно закапывающие меня на глазах всей планетки сведения предоставьте мне на два предрассветных часа женщину, неотличимую от дамы, изображённой на рисунке Петрова-Водкина «**Модель в студии**» (1907). Разумеется, для надругательства. Спасибо за понимание.

Глава 3

Как твоя рука, дорогой Димочка? Телефоны нещадно прослушиваются, да и нет у меня никакого телефона, у

меня даже света белого нет, одно сидение на корточках (на мягком нельзя) в углу узилища и умственное сочинение вздорных стихов, вот послушай свежее вчерашнее:

*Как ягоду зовут, которой ты
вся будешь перемазана, нагрянув
ко мне в татарский час, когда с экранов
зеркал и окон отсверк наготы
слепит? Лилит, пришедшая на пять
минут... часов... дотоле, спросит: «Кто там
ломает нашу дверь, мешая по́том
нам изойти, мне залететь опять,
тебе — смущаясь, повторять: “ты что?
откуда ты взяла?” и слово “дети”
обсасывать на все лады в мотете
“Не обращай внимания: никто”...
Так кто же там ногой колотит в дверь?» —
«Никто! — Я прогоню тебя. Клубника.
Клубника, ну конечно. — Горемыка
какой-то просит хлеба!» Что теперь...
к Лилит вернуться... Только ты опять
под дверью и влечёшь: «Я вся в клубнике».
«Никто!» Я прогоню Лилит. Мне дико,
что я творю с Лилит, но не прогнать
её я не могу. В клубнике! вся...
Столкнётесь в коридоре: «Вся в клубнике, —
Лилит не промолчит. — На холодрыге
стоит в клубнике вся, грехом сквозя...»*

, оно немного взрослое, но ты выслушай его, я не оговорился: выслушай, попроси даму, заглянувшую к тебе с пельменями, если у неё хорошая дикция, приятный тембр и неразделённая любовь к строфе Осипа «Мы стоя спим в густой ночи / Под тёплой шапкою овечьей. / Обратно в крепь родник журчит / Цепочкой, пеночкой и речью. / Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг / Свинцовой палочкой молочной, / Здесь созревает черновик / Учеников воды проточной», прочесть... Прочитала? у неё получилось?

стишок-то сойдёт? Теперь я никогда не забуду его, потому что его прочитала петровóдкинка и ты сказал: «Сойдёт».

...Поэтому пишу тебе на **даме №3** (с которой, надеюсь, ты встретишься не у себя, а в очень людном месте, растворяющем нас до атомов рафинада в горячем чае; знаешь ли ты, что в метро есть туалеты, в которые трудно попасть, но в которых очень удобно делать свои дела? Давайте-ка там, а, Дим?), которую неуклюже называю, да, да, петровóдкинка :-); перестань смеяться, новости (а то ты не знаешь :-() ужасные, но сначала дай слово, что всё, что я настроил на ней, перепишешь изящным почерком (а не своим курецелапым) и без ошибок, то есть на отл., а теперь я должен тебя подбодрить: Аню... твою маму опять расстреливали для устрашения, и перед казнью она выбрала песню г-на Элтона Джона «Никита», которую пела так, как никто никогда, даже сам автор, у неё, оказывается, лучший голос на этой планетке, почему же она водит трамвай, а не? Ты что-то знаешь об этом? Пожалуйста, когда меня будут казнить, постарайся перекричать толпу, чтобы рассказать мне эту историю; я ещё не знаю, что буду петь, но обещаю не подвести — хотя бы твою маму, такую певучую; мама, конечно, опять поседела: к левому виску добавился правый, но такая же непревзойдённая, какой я (почти не) видел её во время нашей единственной встречи в застенке; за ней, знаешь ли, даже оркестр Большого не успевал, то есть успевал, но был бледнее неё, как бы скрипачи ни наяривали этот простенький, но теперь безостановочно насвистываемый всем N проигрыш между «Nikita, you'll never know» и «Oh, Nikita, you will never know, Never know anything' about my home»; стрелял он, конечно, в воздух, мимо, но из автомата; говорят, что пули на излёте где-то очень далеко от Лобного убили троих; кустодиевке тётё Инессе переломали ноги, не представляю, кто теперь будет закармливать тебя супами, исковеркали обе, и в четырёх местах, они всё-таки однолюбы, левую — в одном, правую — в трёх, она, впрочем, держится и передаёт тебе привет: «Изучаю новые супы. Не отвертись»; чтобы не закинуть, старается выезжать на инвалидном кресле в поток и дуть

чай, вовсе не трёхрублёвые, а даром, потому что какие теперь иностранцы среди нас; как ты и ожидал, зверских псов, не понимающих ничего весёлого или успокоительного из того, что говорят им люди, когда на них нападают собаки, и унижающихся до лёгких покусываний, когда все уже на земле — да под их тяжёлыми когтистыми лапами, всё больше: на каждого человека приходится по полторы псины, поток сжался, но ещё струится; каждую улицу разделили на короткие отрезки с наземными пропускными постами и небесной вышкой с пулемётчиком, каждый пост — это проверка аусвайса (я не оговорился: паспортá указом переименовали в аусвайсы, которые выдают самым... верным, что ли, а остальные вольны сидеть дома и пялиться в окна, в которые то и дело летят пули, на что есть соответствующий указ), а после заката — откуда ты знал? — вспыхивают ночные солнца, прожектора такой мощи, что, ослепнув, можно проводить время с пользой: загорать до коричневой корочки, которая так нравится служебным бобикам; прожектора озаряют, натасканные на запах протёртых водкой листовок собаки носятся, пулемётчики постреливают, поэтому пора... я сказал: пора, я знаю, слушайся сам и передай другим, что самое время для использования нюхательного табака, который пусть всё время сыплется из штанин и дырявых карманов, а в рогатки заряжать не алюминиевые проволочные пульки, не мелкую речную гальку, но увесистые свинцовые шарики с изменённым центром тяжести, когда целишь в глаз опричнику, с которым невозможно подружиться, и вымоченные в настое белладонны конфеты-сосалки, когда метишь в их желудки, после чего можно спокойно забраться на вышку и выключить прожектор, ибо он пуленепробиваемый, и продолжить расклеивание листовок или их разбрасывание с воздушных шаров (наладили ли вы уже их производство? нужны ли чертежи шаров, которые я мог бы передать с дамой №4?), потому что бумажные кукурузники и голубки, несомненно, нуждаются в деятельной поддержке с воздуха.

Дорогой Дима, нет ли у тебя возможности передавать эти главы для публикации на СВОБОДНЫХ территориях

и последующего разбрасывания их с самолётов, которые, как я слышал, всё ещё летают на городом N? Договорись, пожалуйста. На этом всё. Твой узник, поклонник твоей мамы.

Р. S. Расставшись с тобой, петроводкинка, которая будет столь любезна, что позволит тебе переписать это в загаженном туалете в метро (полагаю, вы уже сделали это), поднимется в вестибюль и около часа «проспит» стоя около бюста какому-то революционному деятелю; не заметив ничего подозрительного, снова юркнет под землю, доберётся до пересадки и будет мчаться в неведомом направлении «куда глаза», пока на улице не смеркнется, после чего поднимется и, затейливо теряя с себя одёжку за одёжкой, поднимется на пулемётную вышку.

«Здравствуй, ненаглядный», — скажет она пулемётчику.

«Здравия желаю, — ответит тот, пока ещё не окая, потому что слова не те... А вот теперь те: — Чего хотела-то, дурочка? ты знаешь, что сюда не положено? что я могу стрэльнуть?»

«Тупо стрэльнешь, даже допрежь не осмелившись? — Оканье заразительно, и петроводкинка не удержится: — Я вкусная, хороший, я — объединение, только я не пончик, я — испачканная в клубнике... слышал о такой ягоде?.. грустная девочка... Нет, не ведёшься? Тогда я вологодская шаньга, которую так любит вологодский конвой. Попробуй-ка».

И пулемётчик распушит руки и расстегнёт галифе.

«Нет, нет, нет, — вскричит, обиженно окая, петроводкинка, — сначала, хороший, оплата. Гранатку свою дашь за мою шанежку?»

«Дам, дам гранатку... Только зачем тебе, такой крале?»

«А рыбу-то кто будет глушить, хороший? Ты, что ли? Очень, знаешь ли, кушать хоца: у меня семеро по лавкам».

«Тогда точно дам... На, забирай. Мне она не нужна, мне и пулемёта хватает».

И петроводкинка честно позволит (продолжайте окать, вам тоже можно) чужим рукам всю себя ощупать, чужим губам всю себя иссосать, чужому причинному месту всю себя истыкать. И спустится с доверчивой вышки гордо, с чувством





выполненного долга. А, отойдя на расстояние броска, неспешно оденется, швырнёт гранату в вышку, произнеся что-то вроде «пока вы никак не можете подпилить», — и растворится в вечерней подземной толкучке, переодевшись за памятником другому революционному бандиту в заранее подготовленную офицерскую форму, включая, конечно, галифе.

Р. Р. S. Дорогой Дима, этот интересный опыт тоже надо как-то внедрять.

Р. Р. P. S. Аня... твоя мама принесла на Лобное постное масло, которое попросила в качестве последней воли, «чтобы хорошенько смазать верёвку», — и, разумеется, разлила его. Но ничего не подозревавший палач так и не наступил в эту небольшую, но лужу. Кто-то его пока хранит... И, да, эту мысль тоже надо всячески поддерживать, ведь трамваи ещё ходят.

Генератор неслучайных изъятий

Я написал этот бессовестный ужас с единственной целью: хоть что-то сделать, вбить хоть какой-нибудь клин, потому что называть белое чёрным там, где чёрное всегда называют белым и не видят в этом ничего страшного, порой полезно. А пускать под откос поезда я не умею.

Вот, пожалуйста: ГНИ вылавливает людей, о которых в сети нет ни слова правды, а чаще всего их там нет вовсе; скорее всего, это или сексоты, или бандиты, и генератор, уловив это, экстраполирует, то есть своевольничает. Доверимся же ему, потому что в стольном граде N «бесстыдно действует хорошо законспирированный диверсионный батальон косящих под наших дворников и сторожей монголов, нашезированных косметически и прошедших ускоренные курсы нашего языка; они

прекрасно метут и сторожат, но делают это с неясной пока целью по заданию зарубежных кураторов». И всех оклеветанных... подставленных сексотов (сексотов-сексотов, уж в этом не извольте сомневаться), не особенно разбираясь, даже не спросив у них «чѐ денег?» (что отмело бы всю напраслину, потому что наши отвечают на такое без сучка и даже могут вломить), гребут, чтобы наскоро выслать «на родину» самолѐтами Люфтганзы, а наглый ГНИ лаёт на них вдогонку: «Отчего среди них невыносимо много Смирновых, Петровых и Васильевых, причѐм это даже не братья, а? Почему на всех фотографиях заметны признаки подделки: выпученные не от водки, но от безнаказанности глаза, которые когда-то были узкими и чуть косили, а также крашенные хной бывшие чѐлки и выбритые макушки и затылки, а?» — Бэ). С сексотами — увы, временно — разобрались. А пока самолѐты не достигли Улан-Батора, ин макони разведкачиѐни душман расанд, генератор прижимает какую-нибудь великонашу банду, заявив, что все наши таксисты города не наши, наши они только внешне, на самом деле это наспех (по лекалам выше) переделанные монголы, которые работают на сицилийскую мафию, бла-бла-бла. Результат тот же: наших бандитов высылают под видом монголов, что рождает хаос, а хаос — это медали и новые лычки.

Нет, генератор не умеет проламывать череп, чтобы на вашем бегу покопаться в ваших мозгах. Просто если двуногий или человек, беря телефон, вместо «алло» говорит «НЕНАВИЖУ»... Штуковина напрягается, пристально вглядывается в лицо «ненавистника» (пожалуйста, поднимайте голову, когда мы смотрим на вас; под ногами уже даже копеечек не осталось) и начинает усиленно копать. «Доложите о том чувাকে, который прячет морду под пищиковской кепкой с удлинѐнным козырьком, ковыряется в носу, а выработки тайно вешает на прохожих, использует в речи всего пять слов и от выхлопа которого можно закусывать? Неужели враг?» — «Ни в коем случае, ваше благородие. Побольше бы нам таких. Генератор слышит по его испарениям...» — «Из головы?» — «Ну, в некотором роде... Слышит, что он мутузит жену, но та, во-первых, ходит

без синяков на открытых местах, а во-вторых, не способна жаловаться: тот, как вы сказали, чувак зашил ей рот...» — «Ну, это их личное дело. Следовательно, неподсуден. Следовательно, в трудную для родины минуту можем на него положиться». — «Есть наградить его виртуальной шоколадной медалью». — «Поостри у меня... А что с тем, из которого так и пёрло НЕНАВИЖУ? Помнишь: изо всех лезут или хлеб, или зрелища, а из этого одно НЕНАВИЖУ?..»

И тут я впервые задумался о том, как эластична наша реальность, ведь если во всех зашивших жене рот «положить» это некрасивое и тревожащее НЕНАВИЖУ, то, может, и монгольские дворники не понадобились бы... И я не без удовольствия от живосечения начальника, который хоть и не ходил в ногу со всеми, но всё-таки существовал, и существовал в одном экземпляре, а значит был уязвим почище собирательного монгольского таксиста, проделал опыт №1, вложив в кролика, когда он воскресным утром вышел с лёгким похмельем на теннис, сложное словоохотливое словосочетание ПРЕЗИРАЮ ВСЕХ НА РАБОТЕ. Когда обычная пустота, звенящая, как вбиваемый в соперника драйвом мячик, заполнилась, генератор вскинулся и подал первый сигнал тревоги. Тревога подняла летучий отряд жандармов и испортила начальнику теннис и понедельник, который пришёлся на тринадцатое: начальника вызвали и спросили, что это было. Он отвертелся.

В следующий раз его скрутили в ста метрах от конторы, когда он, увидев машину ещё большего начальника, склонился в поклоне, но, как сказали на общем собрании, думал совсем иное: «У этого вон какая большая машина, а у меня вон какая маленькая, так бы и вышел ночью на трассу, чтобы купить у таксиста кинжал с вермахт-орлом на лезвии, и испырял бы сначала эти ненавистные колёса, а потом и». После «и» мысль обрывалась, и как бы его ни душили, интересуясь на пике задыхания, «кого ты хотел испырять? меня или моего несчастного церебрального ребёнка, которого я вёз ко врачу?», добиться ответа не получалось. Начальника перевели в сменные охранники, но пистолета не доверили — не умел, ни разу не стрелял,

никого, в общем, не убивал. Стоял с огурцом в кобуре, упрятанной под мышкой. И очень грустил. Жалко ли мне его стало? — Да, но я упорный и не слишком добрый. Даже, увы, к своим.

Наконец, охранник, с которым я здоровался, которому улыбался и с которым один раз пил вечером пиво, нагнал его после работы на улице, то есть вёл себя совсем не так, как его бывшие сослуживцы и подчинённые, плевать хотевшие на его падение и подававшие ему для пожатия средний палец, однажды нацепил две свои медальки и, проверяя у кого-то документы, будто бы подумал: «Сегодня же всё тут взорву». Больше я его не видел.

Генератор неслучайных изъятий вырос и вошёл в полную подлую и звероватую силу.

И когда его подключили к потоку, я задумался во второй раз (я упорный, но тугодум): то, что умненького начальника заменили на олигофрена, это прекрасно, на большее я и не рассчитывал, но толку-то? Олигофрены великолепны, они могут быть добрыми, елозящими по чужой щеке в слезах своими большими чувственными губами, их легко обмануть, а руки они распускают только рядом с заместителями палача и двуногими, которые бьют попавшегося на НЕНАВИЖУ, не взирая на вологодский конвой, руками, ногами и даже ртами, полными слюны, которая почище кулака. А ещё они любят и умеют ковыряться в заду, засунув руку в галифе и в упоении не замечая ничего и никого. Что-то там чешется и никак не может вычесаться... Однако пример начальника и уж тем более меняющих его олигофренов, покусись на них ГНИ, никому не наука и пустой звук для всех остальных никому. Медовая подлость, сладкая до сладостности, ну пустячная же, как рак у палача, обнаруженный в его зачатке. Никого ни на что не. Не подвигнет. Не поднимет. Не заставит задуматься — и рискнуть.

Тем более что все мы теперь олигофрены. Вынужденные и с роду (за двадцать-то пять лет как не уродиться).

Так я и появился на свет. Я заранее оборвал все связи, дав в главной газете города грязное отречение от родных, дорогих и близких. Целыми днями я произносил устно

и письменно НЕНАВИЖУ, пока оно не потекло из всех щелей, чтобы утопить меня. Но я не дался ему: в один прекрасный день я вышел в поток, поднял опухшую от портвейна морду ко всем камерам на всех столбах и неопознаваемых простым глазом небесных летательных объектах, раскрыл пасть пошире, чтобы ни один микрофон не мог не услышать, и произнёс слово, которое так долго берёт, берёт для себя.

Еле прошептал, ибо было смертельно страшно, но меня слышали.

Отчуждение штанов

Вдоль да по самой стержневой и широкой питерской ползти юрким слизнем к центру — и выбрали.

Дорогой Дима с новенькой после заживления рукой толкал; всё ещё не оправившаяся кустодиевка посиживала на колёсиках, и встречные форменные опричные сливки отдавали ей честь, ибо она была в чём-то парадном, и звали её «штабс-капитаншей», и щёлкали каблуками, и вытягивались, чуть не выпрыгивая из галифе, и ввинчивали ладошку в правый висок до капелек крови. «Честь они, мошонковые грыжи, имеют, — кривилась Инесса. — Красиво и отвратительно, как слизень; хочется раздавить, а надо, закричав “кыш”, просто шугануть с дороги». Давить или кричать нельзя: присмотрятся и увидят, что парча у формы траченная пьянью: купленная у безногого алика, едва отстиранная и перешитая под кустодиевские формы вольно, с выкрутасами и неуставными розовыми пуговицами, потому что «родные», каменные из чёрной гальки, — это «такая питекантропщина, дорогой Димочка».

Впереди колёсиков — чайная тележка в полной церемонной готовности: дровяной самовар, чашки с голову волчьего мальчика, вода из серебряной ёмкости,

грузинская заварка и варенье из яблок-брошенок (оставшиеся в одиночестве, они нагуливают волшебный жалобный вкус, надеясь на возвращение едоков, в этот момент их и надо брать).

Впереди у процессии — ответственное задание: оккупация ателье по пошиву галифе. Сначала одного, а там и остальных. «Вот я и до эксов дожидла».

«Ну, Димочка, какое?» — «Мне нравится генеральское, но не треснут ли у нас физиономии от наглости? Там, должно быть, охрана и начальник — адмирал». — «А ефрейторское тебе как?» — «От него несло». — «И чем же?» — «Казармой, наверное». — «Казармой-казармой. И это главное. Давай его. Возвращаемся». — «Есть давать». — И мальчик крутанул сей цирк и закатил колёсики с кустодиевкой в «Портки для ефрейторов и иных нижних чинов», оставив чай на улице.

Осмотрелись и заверещали: «Встать, когда к вам обезноженный ветеран пожаловал. Тётя Зина, они что — устав не читали? они почти павшего штабс-капитана не уважают?», «Ну-ка, всем смирно, я за вас кровь проливала». Швеи и пр. вскочили и засуетились: принесли откуда-то цветы («Спасибо, что не венок»), вино в стаканах и широченные улыбки, которые можно было натянуть на танк вместо гусениц, чтобы он бегал от врага — да со сверкающими пятками. «Вольно, вольно. Мечтаю пошить у вас штаны. Мои сгорели при битве под Бессамомучей. А вы мечтаете пошить мне штаны? вы точно сумеете? Не кричите “есть, штабс-капитан”, у меня фигура, которую надо подчеркнуть, а я вам заранее не доверяю. Где ваш подполковничек, мои непутёвые швеи и пр.?»

И прискакал подполковник. И кружился вокруг на носочках, будто на мотоцикле на льду или зеркальном паркете, ничего не зная о трении скольжения и не падая. И делал комплименты, втираясь в доверие к дорогому клиенту. И пили вместе чай: он с волшебной травой дурман, а она из фляжки и шнапс для заглаживания совести, которая скоро завоюет. А завыла вскоре — как только у него разболелась голова, его затошнило, у него запыхали щёки и стало клонить в сон. Сердцу его, впрочем, было сладко-

сладко, ибо всё непонятно, всё загадка, какой-то звон со всех сторон, звон дивный, слышный и не слышный. Перешли пьянствовать в его кабинет. По мнению Ивана Алексеевича, уже к вечеру его губы почернеют, а лоб посинеет, после чего его надо будет одеть: принарядить в парадные галифе, и в ночи снести под мышкой на погост. Но время ещё есть, и Инесса закрепляет успех: «Подполковник, у тебя заместитель водится?» — «Ефрейтор Портной». — «Позови-ка его слабеющим голосом и скажи, что отныне я — твоё, подполкан, ВРИО, потому что тебе, подполкан, оказана великая честь: тебя отправляют учиться в Академию кройки и шитья галифе для комсостава». — «Есть позвать слабеющим голосом и обязать слушаться вас, как самого меня». На этом у п/полковника, как и ожидалось, начали чернеть губы, и он, едва успев распорядиться, впал в токсикологическое забытёе. «Что это с ним, тётя Инесса?» — «Наконец-то уснул. Это называется *развезло*, Димочка. Сейчас ребята отвезут его домой, нечего ему тут ошиваться...»

«Ну что же, ефрейторские штаны — наши. Отжали. И — то ли ещё будет». — «Генеральские?» — «Не спеши, Димочка».

Вечеру у п/п посинел лоб, и Инесса выпихнула приёмыша домой, а у созванных почтовым голубем жестокосердных мальчишек, сидевших в арьергарде операции, появился шанс пройтись красивым строем в красивых новых галифе. Переодевшись и салютовав усопшему шампанским, их тела вспомнили, чему учились весь последний месяц, и, перейдя на караульный индийско-пакистанский приграничный шаг, запрыгали с усопшим по самой стержневой, широкой и самой загаженной возмутительными листовками улице стольного града N в сторону погоста. Сердобольные энки рвали с клумб первые тюльпаны и забрасывали ими процессию, словно это весёлая свадьба. (Никак нет, не под мышкой: несли на одних лишь уважительных голых сыновних руках, верстудругую, до открытого бортового грузовика с одиноким бандуристом с траурным репертуаром. Война, даже если ты сломал все зубы, стискивая их от ненависти, требует уважения; иначе её не выиграть.)

На тайный отжим основных производителей штанов ушло несколько дней. Кустодиевка и её клоны (нет, поклонницы всё же лучше) на колёсиках носились с перебинтованными ногами по галифе-ателье, стращали швей, пили примирительный чай с начальниками, и уже вечером отгружали обмундирование своим. Нашим. Каждый день в Н возникала новая рота, которая, отзанимавшись шагистикой, бралась за собак: собак требовалось много — больше, чем настоящих столичных сторожевых, патрулирующих улицы, или хотя бы столько же; собак обучали такому зверству, которое заставит настоящих псов биться в истерике; в дело шли все домашние выше мужского бедра; их умоляли потерпеть, потому что это ненадолго, и они потихоньку зверели, сначала неумело, не умея напугать даже кошку... Затем обладатели нестираных галифе провожали в последний путь кого-то новенького и принимались за изучение пил, топоров, рубанков, молотков, гвоздей и материала по имени *дерево*, чтобы строить макеты пулемётных вышек, чтобы в час Икс строить уже не макеты: *свои* вышки, зеркальные и альтернативные, доводящие энтропию до пота, заворота век и паники. Чужой паники и нашей суворовской одержимости.

Генеральское ателье и спецателье для опричниц брала петроводкинка. Не то что хотела и горела, но ей поручили... хорошо, её упростили. «Дорогая. Сестра. Подруга, — сказала ей кустодиевка. — Я понимаю, что ты действуешь нагишом...» — «Ха-ха-ха. Что бы ты понимала, “сестра”. Понимает она. Ха». — «Ладно, подруга, я ничегошеньки не петрю, потому что это ть́ годы проторчала на сквозняках в рисовальном институте, а не я, а я всего лишь раз сдуру разделась бесстыдно перед Кузьмой Сергеичем, потупив глазки, и готово. Вошла в историю...» — «А кто в бане с веником красовался? Я что ли?» — «Да не могу я, сестра, голой сейчас быть! У меня ноги в четырёх местах опричниками сломаны и никак не срastaются». — «Ну прости». — «Дорогая, возьмёшь на себя генеральские галифе и пошивочные для ихних баб? Заодно роскошно

приоденешься, — и все пулемётные вышки твои». — «Договорились. Так бы сразу и».

Будущие генералы, особенно морские и подводные, тренировки для выходя на рассвете в город, шагали так отъявленно, рычали так дико, что патрули падали ниц и молились о спасении. А их собаки залезали на деревья, и для их снятия вызывали настоящих пожарных, потому что других не было. Да и не планировались они.

Какая, казалось бы, несусветность — эти военные штаны. Где-нибудь — наверное, но тут... тут эта глупость влѣгкую (ох, если бы) закручивает небывалые события в тугую историю, творящую людей, которые начинают творить, гм, историю. (Простите.)

И без них ничего бы и не было.

Впрочем, сначала ничего бы не было без листовок.

Дыба для карликов

Своё. Своё. Вот в чём дело, понимаете? Сначала вы перестаёте сгонять мух, и они засиживают эти повсеместные листки бумаги до стяжания: теперь это их, не галифе, но отжали, и они могут на этом спать, есть, совокупляться, вить дивные, но и уютные гнёзда и растить птенцов (как называются дети мух? ну не карапузы же; и ещё: как их гнёзда удерживаются на этой плешивой вертикали? и почему не валятся под ноги двуногих птенцы? наконец: неужели двуногим лень взобраться на табуретку, чтобы выгрести из гнезда свежий урожай птенцов и, удалившись в ванную комнату, засунуть его в рот? под ногами же высматривают, поднимают, отталкивая других покусившихся, и, не отряхивая, ам...). Этот карзубый (помните, как вы, отчаянно труся, закрашивали чёрным эти два передних зуба?) портрет теперь не ваш,

и вы, перекрестившись, осмеливаетесь плюнуть на его плешь; слюна сползает робко, опасливо, вероятно, ей стыдно за рот, ей не нравится эта фронда, и вам уже кажется, что лучше бы вы не смелели до такой степени, и вы влезаете на табуретку, чтобы отереть эти неаккуратные фонтанные всплески, но кто-то стучит в дверь, вы падаете, поднимаетесь, прихрамывая, подкрадываетесь к глазку (вдруг плевков видели и уже принимают меры), нет, это коробейник, торгующий втридорога ворованными ножами, и вы, надев пиджак с выводком значков ГТО, опять лезете на табуретку, чтобы рукавом утереть плечи нос, на который переползла влага. Но мухи, мухи! Они не дают вам навести на портрете блеск. Он теперь их, и они атакуют вас сначала собственными слабыми ВВС, а потом — всей мощью летучей рати, стартовавшей со своих портретов, ибо были вызваны тревожным феромоном с запахом пота вольного борца, только что победившего удушающим приёмом. Да подавитесь вы. Ваш, ваш. Начхать я на него хотел. Нет у меня больше с ним никакой связи, сходства, совпадения. Были — а теперь нет. И я отваживаюсь взять круглую колонковую кисточку №7, пузырьрёк туши (жирно ему будет темперой) и, игнорируя наскоки мух и клёкот птенцов, намалевать под носом щёточку, не жидкую и не густую, такую, какая была у оригинала, разве что у копии щёточка немного белёсая — из-за пены с губ, и белёсость я навожу, окунув кисточку в мушиные яйца, которые ещё не стали птенцами. Щетинка к щетинке. Ни сколько смешно, хотя и не без этого, сколько любо дорого. А чёрный провалившийся от лепры глаз? Это потом, в следующий приступ. Я стою на табуретке на одной ноге, да под лёгким, но осязаемым углом к горизонту, как красивое водоплавающее бгарь, и люблюсь собой: теперь это не моё, и я могу позволить себе написать свою первую листовку «СВОБОДЕ — СВОБОДУ». Перед рассветом, когда глаза псов смыкаются сами, подавляя их волю рвать, я выползу по-пластунски из дома, чтобы намертво залакировать эту первопечатную красоту на одном малознакомом заборе. Ваше у вас только вы. Остальное — не ваше. Рвите с ним

без затей, как дышите: вдох, выдох, чужое, и как вы раньше об этом не подумали...

Сволочь подсунула свою бабу. Не свою — но свою. Баба пахла. «Это чем же?» — недоверчиво спросила она. — «Его женскими духами. Палач...» — «Не говорите так». — «Нотка этой дряни... Неужели “Красный город”? Где она (сволочь) его берёт? Его же не выпускают... эта нотка есть в каждом её/его взведении курка, в каждой наброшенной на шею верёвке». — «Не знаю. Я ничего не чувствую». — «Кроме того, я никого не заказывал, потому что никого больше не выдал». — «А вот это зря. — И она включила секундомер. — Тогда обнимашки? Или вам этого мало? Чем вы занимаетесь с ними?» — «Вы прервали меня на одном размышлении... Впрочем, я его почти додумал. Остался один вопрос: вы подрисовывали когда-нибудь кому-нибудь... не скажу усы — усики, такие, знаете, щёткой?» — «Никогда. Никому. Ни за что. Бросьте эти глупости. Давайте же обниматься». Давайте, чего уж, не пропадать же красивому, если разобраться (мелькнула в дверях и не отвратила с порога), добру, посидим до рассвета. И — руки на сердца: её рука левая, моя рука правая.

Сердце у неё замечательное: физкультурное, дейнековское, ибо толчки упругие, тыкающиеся в ладонь вязко, вдолгую, от таких вяжет руку, а по ней твоё сердце: хочется подстроиться — а не можешь, потому что у неё сердце капитанское, а у тебя... а у тебя вместо сердца вздорный гоголевский нос, у которого свои предпочтения: если и биться, то никак не под барабаны конвойного взвода с его 120-ю шагами в минуту с одной перебивкой на понуждающий пинок конво... пленного, конечно, пленного, всегда пленного.

«Капитан, не так ли?» — «Угу. Белый майорский китель обещали дать завтра. А послезавтра грозилась покатать на белой коняшке. Теперь не дадут». — «Понимаю. Не сочувствую».

Даже простились: я взял её под руку и церемонно сделал с ней несколько шажков к двери; «Не спешите, вот так, застенок маленький, ать, два, ать, два. А хотите турвальса?»; она посмотрела на меня удивлённо-удивлённо,

будто только что увидела, — и, пока не открылась дверь, заслонив правой рукой глазок, чмокнула в щёку.

О, после этого чмока всё стало ещё загадочнее.

Вероятно, у меня сместились часы, но сместились ли? — нет, заалісились: оказывается, это не было ночью, это не было рассветом, это был вечер предыдущего дня, который я... что? пропустил? где я был? почему я не помню? А настоящая ночь — вот она: за два часа до рассвета в дверь постучались, постучались (!) и спросили: «Можно?» — «Можно», — ответил я молча, полагая, что это сон. — «К вам гости», — сказали за дверью. — «Хватит церемониться. Вводите гостей. Тари-па-па, тари-тари-тарипа!..»

В дверь впорхнула она: петроводкинка (!).

«Такая сойдёт?» — спросило надзирательское мурло.

Боже мой. Что происходит? «Спокойно, — шепнула она и положила ладони на моё лицо. — Не меняйтесь в лице так быстро. Никому не показывайте свои слабости. Если хотите, ущипните меня за левый сосок». Как? почему? Я положил руки на её плечи: пожимает. «Бывают же случайности?» — «Только в теории. Почему мы шепчемся? Разве это не сон? Разве это не сон?!» — заорал я. — «А что со случайностями происходит на практике?.. Да не кричите вы. Вот моё чуткое ухо, в него, в него, полоумный. Только язык не суйте, щекотно, расхохочусь». Я ущипнул её за левый сосок и прошептал в её чуткое ухо:

*Дать человеку грудь, когда на части
энтузиасты рвут Экклезиаста
под лозунгами «Грудь отныне наша»
и «Ты, бесправная трагичная мамаша,
не только кровному с понятием трёхлетке
отдашь последнее — подаришь яйцеклетки
истосковавшемуся без тебя матросу, —
ты общая, вот клич наш — и хабса», —
движенье не девчонки, но Мадонны,
которую исправно и исконно
с балкона завтра сбросят по ошибке,
и виноватый с доброю улыбкой
штыком укажет в сторону мальчишки:
упал, а выжил, надо же, братишки.*

*Младенец, вдруг подросший, согласится:
всё потому, что я по отче птица.*

«Зачем вы меня ущипнули! — зашипела она. — Вот дур-р-ра-а-ак. Я же расхотела... Только не *матросу*, а пулемётчику. Впрочем, может, вы и тут угадали, и он *флотский* пулемётчик... Я вспомнила: когда он спустил галифе, над ними было что-то полосатое! Вот только с балкона меня ещё не роняли. А с вышки, если хотите, могу свалиться, но — с мальчиком, потому что дело горячее, а ограждения хлипкие. Хотите, чтобы я упала :-)?..

Эй, дурак, они взяли меня похотливо и спешно: я там, гм, популярна, я, мой дорогой, лазаю голой по пулемётным вышкам...» — «Как я и предсказывал». — «Простите? Ах, да. Вы писали об этом... Лазаю и выцыганиваю гранаты, а потом величественно схожу с выщечки, и как брошу гранаточку, и только клочки по закоулочкам: от выщечки и ея мальчишечки, и некоторые из них хорошенькие такие, а я холодная, как заливная рыба, и как же мне от этого тошно.

Популярна настолько, что они теперь евнухов ставят, и поди догадайся, кто есть кто: вологодский жеребец с виду неотличим от почему-то охолощенного (дай бог ему поменьше душевных переживаний из-за), потому что беспричандальный тоже за грудь хватает. Вот зачем он? И тогда меня натурально рвёт. Но потом, потом, когда уже нет то ли вологодского, то ли фаринелли. Слышите вы, дурак, меня выворачивает. Но сейчас мне хорошо. Только очень страшно...

А взяли меня, верно, потому, что я к одному их начальничку подбираюсь, и он уже исподмигивался мне из щели (название-то какое) своего танка. Как думаете, в танке есть гранаты? Но как одно связано с другим, я не знаю. И вообще, не слушайте придурочную».

«Кажется, знаю я. Это же генератор. Вот бы *подкрутить* его сейчас. Вот бы сделать так, чтобы только вы приходили, или кустодиевка, или Аня...». — «Какой ещё генератор?» — «А, не слушайте придурочного... Вы 3-ю главу того?» — «Ещё как того: в туалете глубокого залегания. Гаже места

не видела». — «Извините». — «С ребёнком. Зачем вы его впутали?» — «Так вышло. Извините». — «Перестаньте извиняться. Займитесь делом. Петухи скоро». — «Простите». — «Вы только подстанывайте, когда я разойдусь. И не смейтесь».

Глава 4

*Равнение на ранение, слышишь, сволочь?
На оторопь, если дохнешь, урона горечь.
Если же сам завалил, а он мрёт со смеху, —
на Обвóдный канал как пленэрную гладь:
начинил свинцом человека — и ни копать,
ни плясать, — только плеск и его эхо*

*до Невы и дале. А нет пуль — на приклады:
нежна височная кость, даже если кудлаты
шапкой ли, волосом, и по всему Петрограду —
хрустение на уснение затаившегося врага,
гуляющего по мостам, оживляющего берега;
лопат всё равно нет — и рыбы рады*

*от кормы до носа: просто прорва корма.
Долетит ли «ах, милый», «прошу покорно»,
другое бессмысленное слово, — зевоту
(устал, верю) сдержал равнением на,
и пускай ныряют до самого дна,
но прежде штыком — и концы в воду.*

Помяни сволочь, и она, сволочь, тут как тут, ибо сволочь. Шучу. Наверное. ЭТО ТАКОЕ НЫНЧЕ, и палач, верно, тут ни при чём: такой вечер, такая ночь следующего дня и такое его утро.

Холуи завязли в дверях, и он, ОТСТАВИВ В СТОРОНУ ШТЫК (о господи), разбросал их кулачным боем; языка-то у двуногого нет.

«Штык? Штык?!» — «Ну да, будем резать, будем бить. То есть пырять. Обычный, трёхгранный, без страз, наш,

скифский. Ты поймёшь, ты увидишь, ты оценишь. Пошли. Пошли-пошли, сволочь, чё покажу».

Я попытался вырвать у него штык. Выглядело это дико: задохлик, на которого упала тонна персов; когда я, став задыхаться, заплодировал их мощи, бия хитрой свободной правой о бетон пола, они сказали: «Сейчас», после чего валялись на мне ещё пару минут. «Вам не надоело? — сказал палач. — Пошли уже».

И мы пошли бесконечными подземными галереями, переходящими в лабиринты и обратно. «И ни одной пирожковой или чебуречной по дороге, — орал он на прихвостней, — а зэкá наш проголодался. Вы его хотя бы кормите? Кормят они его... Чтобы в следующий раз поставили тут ларёк. Пирожков нет, зато ни одна ракетка не достанет...»

А велосипед нельзя было изобрести? Узник наш уж ноги сбил. За его кровавые мозоли ответите. Чтобы в следующий раз тут была велосипедная станция на два велосипеда: его и мой, а вы понесётесь рысцой по нашему исчезающему следу. Сипедов нет, зато ни одна бомбочка... И чего я разоряюсь? Мы пришли».

Зала была белокафельной, как мёртвые лица запытанных. «Зубы бы здесь драть, а потом мазурки отплясывать с сестричками, — сказал палач, — а я вон что учудил»: на месте танцующих стоял ряд... дыб, дыб-дыб: больших (впрочем, что такое «большая дыба»? — кто-нибудь знает?), средних, поменьше и маленьких. «Кнудом бы их ещё лупить, — сказал палач, — но не лупим, бережём. Ибо испытания. Ибо прототипы. До серии, а значит и до кнута, ещё парсек. Да, главный конструктор?» — «Бу-бу-бу-бу-бу». — «Сколько раз ты сказал “бу”, сволочь? Следи за речью, тебя не понимают».

Зала была такой же страшной, как мавзолейная со стоячим саркофагом в геометрическом центре, в котором некто вождь смотрелся скалящимся молодцом с трупными пятнами, и котурны его совсем не портили.

«Хочешь повисеть? — спросил палач. — Нет, нет, попробовать, поболтаться, вкусить. По сути, это своего рода качели, если испытуемый беснуется. Но руки, извини, свяжем за спиной».

Палач подошёл к самым маленьким дыбам: «Наша гордость: для почти титечных. Через полгода они войдут в силу, начнут бунт в ползунках. Распояшутся, сволочи трёхлетние, — а мы уже готовы...» — «Трёхлетние?» — «Они».

На этом я сполз по стенке на пол. «Чё такое? поплохело?» Ещё как: мне показалось, что он — это я-из-преисподней через полгода. Когда «мои» трёхлетки с окраин станут «врагами родины»? Через несколько, чёрт, месяцев.

«...испытываем на карликах. Подать сюда живого карлика». Привели очень маленького человека. Очень маленький человек заплакал и начал драться. «Сейчас, — сказал палач. — Держите его семеро. — И вогнал в ляжку маленького человека трёхгранный штык. — Только его боится. Теперь можно подвешивать... И хохотать. Очень смешно. Да не отворачивайтесь вы... Эй, кто-нибудь, оторвите его руки от его очей, а в очи вставьте спички. Пусть, сволочь, смотрит... А эти, — он показал на средние дыбы, — женские. И мамыши тоже: скоро восстанут, а мы их — раз, два, а вечером позвоним мужу: забирайте, не нужна она нам, и не забудьте оформить документы на инвалидку... Главный конструктор, готова мамская-то? Чего? ещё чертите? Вот черти неуклюжие. А это тогда что? Перевожу: первый прототип. Понял. Вали отсюда. Нет, на прототип я вашу даму №3 не пущу — слишком хороша для этого убожества».

«Милая петроводкинка!» — «Ах, вот как вы меня называете». — «Донесите всё это до товарищей, особенно маленьких. Пусть поберегутся». — «Да, Александр Валеревич, непременно».

Надевая новые галифе,

чтобы действовать в окружении врагов и двуногих, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь не выдать себя до самой победы, ради чего готов: отказаться от

чтения на людях любых печатных изданий, кроме купюр; стереть с лица всякое человеческое выражение, низведя его до морды, в которую хочется плюнуть или ударить; не уступать место в трамвае; выходя из трамвая — выходить, а не подавать дамам руку, чтобы они не сломали ногу, сходя на голый лёд; стараться не смотреть под ноги, если дорога идёт через трамвайные пути; наступив в масляное пятно около путей, стараться падать головой вперёд, когда трамвай, начав движение, уже не может остановиться; ходить строем, даже если идёшь один, пристроившись к людям или двуногим без галифе и скомандовав им: «С левой, шагом марш»; исключить всякое словесное общение с людьми или двуногими без галифе, кроме уставных команд, мата и требований водки, куриных яиц и коровьего молока; на всякий вопрос, не имеющий отношения к галифе и повторенный больше одного раза, бить в морду свободной рукой или ногой, нанося побои только лёгкой тяжести; будучи с собакой, натравливать её на любые шевеления, которые чреватые угрозой жизни людей или двуногих без галифе; находясь на посту, не вступать в разговоры и последующие половые отношения с голыми женщинами, выдавая им гранаты по первому их требованию — при условии, что они понимают, что вы не являетесь их боевой целью; при работающих прожекторах стрелять в людей, расклеивающих листовки, прицельными одиночными выстрелами и очередями только холостыми патронами, если же в результате выведения из строя прожекторов, наступит темень, — умно и осмотрительно стрелять на поражение во врагов, стреляющих в расклеивающих листовки боевыми патронами; находясь в окружении врагов и двуногих, бить людей, попавшихся при расклеивании листовок, показательно больно, но аккуратно, щадя их передние зубы и не отбивая им внутренние органы; при случайном ранении от рук расклеивающих листовки постараться не умереть и успеть сообщить им пароль, чтобы они не добились меня; будучи заброшенным к врагам и дослужившись до ефрейторской лычки, всячески подло унижать врагов в галифе, массово отправлять их на патрулирование только пустых улиц и выводить их из строя некачественными спиртными

напитками и закуской; в случае нужды, которая застигнет на улице или в безобидном помещении типа магазина, рисовального института или публичного дома, справлять как малую, так и большую нужду здесь же, на людях и двуногих, не чинясь; в случае пленения врагом и пыток, чреватых раскрытием, принять быстродействующий яд, который защит в галифе-кармане типа «пистончик».

Если же я, не справившись с возложенной на меня миссией, сниму галифе, не повредив ни заданию, ни оставшимся среди врагов соратникам, прошу моих товарищей низжайше меня простить и отправить на расклейку листовок «ПАЛАЧУ — СМЕРТЬ ОТ ДРЕКОЛЬЯ» на самых главных и опасных улицах стольного города N до самой победы.

Если же я перемертвусь на сторону врага, умоляю найти меня и покарать, не дожидаясь победы и последующего суда. Ибо идёт война.

Лепечем

Мы торжественно клянёмся, а они... И как тут не довести дело до дыб для трёхлеток (а довести нельзя)...

А они скоропалительно палят по ногам, по расправленным, как крыла, рукам, — и по нашим растопыренным юношеским ушам, когда мы лопухом отворачиваемся, чтобы внушить *своей* собаке, чтобы не ела двуногих, а ела только чужих в галифе, вернее, даже так, моё лохматомордое солнце: не ешь без нужды, но окрысивайся до их лёгких сердечных приступов. Что ты говоришь? «У них и сердец-то нет»? Наверное, наверное, но это не повод... А ещё мы отворачиваемся от них, чтобы взять пилу, молоток, жердину для *нашей* пулемётной вышки, которую они считают дружественной (видели бы они наши пулемёты вблизи: изящные, но картонные гусаковские макеты), но всё равно ревнут и оттого стреляют по нашим

хлопающим на ветру ушам, чтобы вместе с их лохмотьями мы упрятали под скафандром бинтов наш зверский вид — и люди с двуногими из уличного потока унизительно хохотали, и весь страх доставался им, врагам в галифе, которые были тут первыми. Но мы продолжаем клясться.

«Эй, — кричат с настоящей вышки, поводя в нашу сторону метателем пуль, — вы нам обзор закрываете». — «Все вопросы к его превосходительству генерал-ефрейтору», — рычим мы в ответ, приложив к губам жестяной рупор, и они отстают. До рупора они ещё не докумекали, оттого спрашивают: «А где выдают эти громкие рычащие штуки? А то нас, когда мы стреляем, совсем не слышно». Осаживаем их так неотёсанно, как только умеем: «На верхней полке». — «Грубые вы», — обижаются они. Наши собаки, почувствовав их поражение, рычат и кидаются. Их собаки тушуются, скулят и прячутся за их спинами. «Уймите шариков, — просят они. — По-братски просим, наши совсем зашуганы, уже на людей не бросаются».

На улицах пахнет лесом и стройкой; на улицах удваиваются и даже утраиваются вышки: мы, люди в свежих галифе, берём их вышки в клещи своих, слепя их своими прожекторами, тыкая в них своими картонными пулемётами и задорно крича: «Тра-та-та-та-та. Не застите нам пространство, пригнитесь, дайте шмальнуть, чтобы спугнуть сволочных писателей». «Писатели» — это писатели листовок, они же их расклейщики. Наше появление на улицах учетверяет их и дарит им чуть ли не безнаказанность: они умащивают витрины листовками поверх старых листовок, которые не успели содрать; они теряют трепет и попадают настоящим патрулям, и тогда наши патрули галопируют на выручку: «Алё, мы заметили их первыми, — надрываются наши псы, — ну-ка, брось, эту руку, соб-бака, она вкусная, и она моя». Строгие они, наши Бимбы, Лолы и Полканы. А когда писателей ранят с вышки, роняя их на землю, чтобы забрать, когда наберётся гора для грузовика, мы калечим все уличные прожектора, даже свои, и растаскиваем нерасторопных смельчаков, чтобы подлечить их — или ампутировать ногу-руку, потому что, бывает, не успеваем, и раненые порой лежат слишком долго... Увы.

Увы. Едва залечив но́ги, лишилась правой руки и левой ноги кустодиевка. Весь злополучный удивительно апельсинно-солнечный день Инесса пила чай с жаждущими, не отказывая даже двуногим, врагам в галифе и их собакам, для которых держала родниковую воду — да с матрёнчиком, да с наливным яблочком. Собаки кривились, но пили, почти не огрызаясь. Кустодиевка без страха подносила к их пастьям бутылку с водой, и псы глотали влагу вполне полюдски, предательски приговаривая: «А вот хозяин мне не даёт. А у него целая фляжка на боку». Хозяин в галифе начинал оправдываться: «Дура, там не вода, а шнапс». Но дуру это не успокаивало: «От шнапса бы не отказалась». И все смеялись, хотя из всей троицы человек тут был только один: наша Инесса.

«Лимон устал, — кричала на всю ивановскую кустодиевка, — но это пот работы!» И лимон, которым она умащивала каждую чашку для проголодавшегося по самоварному чаю человеку, интересничал: влюблённый желторотый, перебиваясь с блюдца на налив («Налив — это яблочко, — кричала Инесса. — Сегодня чай особенный: ещё и с яблочком. Налетай»): тарелочка вытягивала жилы, каймой голубой скалено кружила, мазиле напоказ благоволив («Есть среди вас мазилы, которые могли бы запечатлеть этот неповторимый момент? — кричала кустодиевка. — Петров, ау. Водкин, где ты, милый? Борис Михайлович, ну хоть ты-то тут? А не хотите запечатлеть — просто тяпните со мной чаю»), ещё бы в пляс пустилась, закрутилась, взгляд смазав, как развязный наutilus... Но это что: зелёные бока с материками, битыми о землю, округлые с претензией «объемлю», до червоточины пупа, как донага, раздевшись, подле шариком торчали: налив Землём бредил, и мистральи на обороте галлов били в дрожь; по счастью, из незримого оконца тёк апельсин — полуденное солнце, и тень лимон не застила. «Даёшь, — кричала Инесса почтенной публике, которая наконец-то задумалась, а не хочет ли она чаю. — Лимон усох: какой-то год работы, а Соловки такие, что охота Петрову отравить грузинский чай; спасает Водкин:

стелет самобранку охвата карты пира спозаранку и пьёт здоровье: целый мир встречай!»

Вот так зажигательно она работала в тот чёртов апельсинный день. Пока её не узнал один из сторожевых псов, не узнал — и не зашёлся в непрекращающемся тревожном вое. «Внимание, — заорали с вышки, — всем лечь, а то буду косить направо и налево. Дамочка с чаем с лимоном и яблоком, за которой я наблюдаю целый день, ахтунг. Предъявите аусвайс наземному бойцу». — «А в чём дело?» — поинтересовалась бесстрашная кустодиевка у вышки. — «А в том, что собака уверена, что вы та самая, которая выдавала себя за геройского штабс-капитана. Только скажите, что это не так, и я начну беспорядочную стрельбу, и достанется всем. А если это так — то стрельба будет прицельной, и пострадаете только вы». — «Это так», — ответила Инесса. Гадёныш с вышки выстрелил всего два раза, но оба в точку. Глазастый. Попал.

Наши вытащили уже истёкшую кустодиевку, которой сначала сторонились, а потом, как это всегда бывает, стали обходить, едва не наступая на неё, да ещё подъев лимоны, яблоки и выдув весь родниковый чай (некоторые рвали на себе рубаху, чтобы перевязать её, но получали предупредительный выстрел: «Лежит и лежит. А вы шагаете — и шагайте»). Но вытащили только под утро.

«Дорогая. Сестра. Подруга... — сказала кустодиевке навестившая её петроводкинка. — Хочешь, я вместо тебя буду ходить в рисовальный институт?» — «Очень хочу. Ты не то что я: ты неземная. А я так: модель для их насмешливых карандашных почеркушек. А вот тебя, подруга, они вознесут. Ты бы, дорогая, даже Да Винчи восхитила». — «Так познакомь меня с ним, сестра».

Хохотали. Потом ойкали: одна тёрла куда-то пропавшую ступню, а другая гладила руку, которая ушла на поиски ноги, но так и не вернулась.

«Мне нравятся твои руки». — «А у тебя, такие, прости, груди...» — «А у тебя они ничем не хуже». — «А давай вместе позировать оболтусам?»

Хохотали. Ойкали. Обнимались. Стелили друг дружке постели, чтобы побыть рядом подольше, а на комендантский час плевать хотели: открывали окна — и плевали. Ответные пули оплёвывали комнату, но сколько их ещё будет. Плевать на них. Всё равно только ранят.

Господи, о чём они, когда надвигаются дыбы...
Надвигаются, а мы клянёмся. Мы лепечем.

Семнадцать окон

Человек и моль. Павиан и человек. Человек не донесёт на назойливое чешуекрылое, которое лезет ему в глаз, считая, что это гоголь-моголь, не станет его за это преследовать, чтобы засунуть в тракт и переварить, или не заметит — или махнёт рукой: лети, милое блёклое, удачи тебе под фонарём. Человек не будет связываться и с мартышковыми; из одного царства, а вот не станет: павиан пнёт деда Мазаю и отскочит, хохоча от новых опасных, но приятных ощущений, а дед поманит его фиником, который лежит в кармане со времён прежнего потопа, и посадит рядом с зайцами: хорошее моё, даже не знаю, как звать-то тебя, но утонуть тебе не дам, ты только зайцев не обижай, они тоньше устроены: перепуганы так, что пульса уже и не слышно...

Палач всегда казался мне инопланетной фауной. Он впитывал всё, что видел, слышал, осязал пальцем, причинным местом, языком и дёргаными нервами, полными узелков новых увлечений: вот моль зачем-то садится на толстый вязаный свитер и подъедает его весь, пока человек перечитывает на веранде летнего домика с мезонином «Дом с мезонином»; потом человек задрёмывает, и любознательная моль, раня крылышки, продирается через полусмежённое веко к глазу, где в полной темноте пытается выпить глазное яблоко; вкус неважный, но он новый, он падает в копилку и развлекает

моль этим скучным вечером. Проснувшийся за полночь человек недосчитывается глаза и сходит с ума. Это тоже любопытно, это забава, которая веселит моль этой скучной ночью. Скучным утром человека находят повесившимся и вскоре закапывают, оставив в земле пылающую свечку. Кружиться подле свечки, чуть опалая крылья, лечебно: огонь зарубцовывает свежие раны пахучей корочкой, на которую летят мошки. Вот мошки вкусны... Всё это так увлекательно и порой полезно. Поиски полезного увлечения сопровождаются знаниями о новой забаве, которая не очень-то полезна, но веселит как ни одна прежде, целительно заполняя пустоту инопланетного существа, которая рвёт его, когда он переполняется пустотой.

Палач — это самая сокрушительная увеселительно-познавательная машина в истории нашего царства («нашего» — в смысле нашего; а может, и не только нашего, но и заморского; ещё чуть-чуть, и мы, кажется, узнаем это наверняка — но это знание не будет нам впрок: к тому моменту сквозь нас всю прорастёт мутировавшая лебеда; и тогда лебеда сможет безапелляционно прокаркать: «в истории всех царств нашей грустной планетки»; мне кажется, новая лебеда будет явственно каркать).

Вкусив глазных яблок зачитавшегося дачника, но не поняв их вкуса, моль, пустоте которой до всего есть дело, неуверенно (эклеры были... полакомее) плюётся: «Какая шняга» — и будит чеховского почитателя. И пытается его до самого его сумасшествия, желая узнать, почему его глазные яблоки не так вкусны, как яблоки с веток (не говоря уже об эклерах), используя все подручные острые и тупые средства, но всегда кончая пеньковой верёвкой, ибо о всемирно-исторической роли пистолета Макарова моли ещё не донесли, а значит — не дали. Вешай пока, не чинясь, обожаемое чешуекрылое.

И всё сама: сама, нещадно потея, познаёт мерзкий вкус глазного яблока и выспрашивает у владельца, почему это настолько несъедобно; обливаясь потом (ей нравится обливаться потом, она поняла это сразу, и теперь хочет обливаться, не переставая), загоняет под ногти найденные в домике с мезонином острые штучки («Это что такое?» —

«Швейные иголки. Иголки используются в...» — «Как применю их сейчас...»), чтобы та, которая открыла моли глаза на предназначение штучек, немедленно рассказала ей, чем же так хороша книжка, за которой заснула эта сволочь с невкусными глазами, которые выглядели сущим гоголем-моголем, а оказались ничем не лучше трупных пятен на однажды перехваченной сдохшей корове. Корове? — Как ни странно; дающие молоко коровы тоже дохнут. С головы у кратко излагающей содержание старушки всё время падает ночной чепчик, и моль, которой не нравится вид пересказчицы без убора, прибывает его к старушечьему темени гвоздиком. Прибывает сама, познавая действие молотка, гвоздя, живой плоти, в тело которой входит гвоздь... Усвоив Чехова, моль находит спички и играет с ними; от спички вспыхивает вырванная из Чехова страница, которой моль... в общем, страница оказалась испачкана, но всё равно занимается, потом начинает тлеть ковёр, вонь невыносимая, но моли любопытно, до какого задымления она просидит в комнате, листая альбом с фотографиями молодого обладателя невкусного глазного яблока и его юной старушки. До такого, когда на смену дыму приходят стены огня. На моли тлеет чубчик, и она засовывает голову в бочку с водой. Ощущения непередаваемые и нравятся, чубчик потушен, моль ныряет и плещется, мечтая о переходе в другое царство, в котором можно стать владычицей морскою, но она не знает, как это сделать: «Как?» — выныривая, спрашивает моль у холуёв. Холуи находятся: «Нужны жабры». — «И как мне раздобыть эти жабры?» — «Попросить у золотой рыбки?» — гадают холуи. — «Так подайте сюда эту рыбку». Тут холуи теряются и начинают мямлить безо всякой уверенности в нудных категориях «вот если бы сказку можно было сделать былью...» Нетерпеливую моль, которой вынь-и-положь, это бесит, и она впервые понимает что-то с кристальной ясностью, которой так много на её прежней планете, но так мало на этой: надоевшего холуя, впаривающего ей «Морфологию сказки», надо убрать. Можно ночью, чтобы он не узнал об этом и, следовательно не расстроился, потому что холуям свойственно огорчаться, что бы это ни

значило (моль догадывается, что она огорчилась, познав вкус глазного яблока... но это не точно), но лучше сейчас. Что и делается. Самой молью. Всё и всегда она делает сама, не полагаясь даже на павианов. И испытывает сказочные ощущения, почти, вероятно, по Проппу, о котором талдычил этот всезнайка. Помог тебе твой умственный багаж, сволочь? Сила ли он?

Настрелявшись после завтрака по садовым галкам, воронам и голубям, из которых сделают вечернее жаркое для собак, и те возлюбят его ещё крепче, палачу захотелось пострелять по себе подобным. «Ну то есть подобным внешне, — пояснил он оружейнику, — а внутри, братан, это какая-то инопланетная гниль, которой я никак не могу понять, и не проще ли не мучить себя? Так подай же мне что-нибудь для городских боёв...» — «Пистолет Макарова ваше благородие устроит?» — «Это что за зверь?» — «Новейшее изобретение, кучность, прицельность, дальность боя — всё зашкаливающее. Мир не знал ещё такого совершенного военного струмента». — «И к нему каких-нибудь заминированных игрушек, потому что у них есть дети, а я видеть не хочу, в кого они вырастут. Да, братан, а Чехов-то какое, оказывается, говно, причём я обижаю говно этой сентенцией. Извини, говно. Пересказали мне тут какую-то “Каштанку”... То есть дай мне ещё нечто огнемётистое, чтобы я пышно спалил пару библиотек с этой “Каштанкой”. Устроит ли меня Flammenwerfer 35? Ты ещё спрашиваешь, сволочь! Не забудь попросить меня, восстановить его серийное производство...»

«Макаров» надоел палачу после пары обойм, на 16-м окне. Из окон никто не падал, и палач спрашивал у патруля, к которому пристроился: «Ну отчего же никто не валится наружу?» Солдатики блеяли успокоительное, мол, ещё не вечер. Тогда палач отнял у них их пиццали, зарядил их двойной порцией всего и шарахнул в 17-е окно, из которого ему под ноги бросали цветы и «люблю до гроба». Получив сполна, цель отразилась от стены и выбросилась в окно по частям, оставив в доме лишь никчёмные ноги.

«Вот это мощь», — сказал палач и опоздал на ужин, потому что опять увлёкся.

«Хорошо, что мама сдохла. Представляю, как бы она орала, впихивая в меня через ноздрю манную кашу».

На ужин подавали то, что осталось от собак: грациное жаркое. Обедение, но в паре тушек были дробинки, и палач, вознегодовав, ласково позвал повара и деловито засунул недоеденную птицу через нос в пищевой тракт шефа. Новый опыт всегда интересен. «Вот чёрт, — сказал палач. — А о библиотеках-то я и забыл. Прости, шеф, вторую тушку в тебя затолкают ребята, а я пойду жечь Чехова».

Мама, почему моль донимает нас, а мы ни гу-гу?

Окно №18

«**За Каштанку ответишь**», — хохотала моль, выкладывая из Чехова помесь таксы с дворняжкой размером с три упавших на бок холодильника, переполненных куриными яйцами и молоком. Чехов пылал, как кашлял: надрывно, трескуче, разбрасываясь на бледных, но наотмашь-строчках во все стороны, но задние лапы и хвост почему-то жалел; они сгорели последними, когда палач, распинав их котурнами, остыл к забаве и снова зажётся давешней: стрельбой по мечущимся в окнах теням, которые только что, лишив горшки желтофиолей, бросали цветы под ноги палачу. От «Каштанки» несло стольным градом N, когда он, ещё не оловянный-и-стеклянный, сгорел, как всегда, дотла из-за одного сгоревшего во сне слишком ретивого опричника, жившего с чужой женой и тремя дочерьми чужой жены, одной из которых было тринадцать, а другой — пятнадцать, а их отцом — мужем чужой жены — был мурза.

«Это какое уже сегодня?» — спросил палач. Холуи гаркнули окнам: «Сколько на ваших ходиках?» Окна





ответили, и холуи отчитались: «Ещё сегодня, значит это восемнадцатое, князь чухонский и прочая». Восемнадцатое на втором этаже не славословило и не металось, восемнадцатое смотрело исподлобья, недобро. Палач забрался на плечи холуя, вставшего на плечи другого холуя, и громыхнул в окно пищалью. Отдача свалила гимнастическую пирамиду на землю. Из окна, покружив по комнате, но не найдя пристанища, выбросились последние нога и рука кустодиевки. Следом за ними выпорхнула граната: мстительная, но отчего-то неповоротливая, она теряла время, чтобы присмотреться наверняка, и это ломало всю гравитационную картину этой сцены: семь персидских амбалов успели упасть на палача, прежде чем принять мщение на себя.

Останки кустодиевки отдали для наускивания и ночного пира псам. Петроводкинку, читавшую на кухне «Анну на шее», порвали на части с молчаливого согласия князя чухонского контуженного, обделавшегося и прочая и семерых дохлых персидских амбалов. Дом, в котором было окно №18, сожгли из нескольких *Flammenwerfer* 35. Пахло почище Чехова и его «Каштанки»: в доме были люди, двуногие и жучки; они таились под плитингусами. Их не искали, их не выгоняли, из них не складывали штабеля в вагонах, идущих на север, их просили оставаться на местах «до особых распоряжений» и согревать лечебным воем инопланетную (звучало иное слово в том же падеже: «благородную») душу князя контуженного и прочая, и прочая. Оказывается, плитингусы горят не хуже напалма, а дети перекиривают шариков.

Видевшие и слышавшие это обгоревшие на этом пожаре, но не спасшие ни одной души обладатели новых галифе с картонно-пулемётных вышек безо всякой команды полезли на настоящие вышки, приговаривая грубое и обманное: «А вот кому совокупиться», где меняли гулкие удары в ухо на рывкающий пулемёт: «А вы можете из нашего, из картонного». Кровь из одетых в старые галифе, которых скосили с вышек, подлизывалась *нашими* собаками и шла на боевые рисунки на рожках... лицах *наших* собачников. Если

бы в моём застенке было круговое окно под облаками, я бы отложил вид сверху на стольный град N до последующего нанесения на даму №4 в выражениях почти технических: «Каждая улица стала глухим стаканом с пружинами сжатия по концам». Пружины слева и справа увеличиваются в размерах с каждым вновь принятым в себя человеком или врагом, но при этом становятся меньше, сжимаются, словно новых бойцов подпирает что-то немисливо мощное (хотя это всего лишь команда «теснее, ещё теснее»). Когда живые витки сливаются в монолит такой плотности, в котором на удержание людей или врагов работают даже липкие среды, пот и кровь, вытекающая из ран ближайшего тела от дреколья и из-под сломанных пищалями соседских рёбер, пружина кричит на тысячу задыхающихся голосов: «Больше не могу» — и начинает разжиматься. Люди с дрекольем летят на врагов с пищалями. На первом (к врагу) витке никаких галифе: это двуногие, только что почувствовавшие себя людьми; у первого (к людям) витка противоположной пружины никаких пищалей: это только что забритая уличная шваль с кастетами, заточками, рессорами и арматурой. Дреколье входит во врагов как нож в маслодела. Пищали рвут людей на чёрные дыры звёздной массы. Дыры осыпаются. Масло расслаивается. Дреколье пронзает двоих. Выстрел раскрамсывает одного с половиной, пока другие полтора человека вонзают кол в того, чей палец не успевает нажать на спусковой крючок.

Как называют людей, которые задыхаются в танках, дыша глазами через триплекс? антиховцами?.. ах, точно, танкистами... Юный танкист, у которого впервые появилась дама сердца — и какая: петроводкинка (она старше, даже много старше вражеского мальчишки, но она... она...), — узнал о случившемся, заревел ревмя, распустил руки, выгнав экипаж вон, — и сорвался окончательно: вынесся из засадного переулка на улицу, развернул машину в сторону своих и ударил по ним свирепым шрапнельно-картечным, одним, вторым, третьим. И покатил по шевелящимся галифе на перекрёсток четырёх улиц, чтобы израсходовать

все шрапнельно-картечные, все осколочно-фугасные, все кумулятивные, но добраться до Лобного и протаранить ворота Спасской.

Бейкер-стрит

В ответ на своё негодование шумом в ушах князь чухонский грязноштаный и прочая загнал в стольный град N рой танков.

Танков было, как мошки на оскоплённом голом начальничке, прибитом эками к воротам таёжного концлагеря. Они стояли борт к борту, и прикажи им палач пойти вприсядку, они сплясали бы, но только в своих безмозглых головках без шей. Улицы N оказались навсегда вымощены бронёй, ибо, когда всё закончится, проще залить щели (не триплексы!) между злыми железными мамонтами бетоном, чем выкорчёвывать (а потом хорошенько, лет за полста, заполировать шаркающими ногами). Да, первые этажи станут подвалами, но это случилось бы всё равно — на пару веков позже. Время теперь быстрое, пятимесячное; нечего воротить утончённые лица, тыкая меня в старые учебники древней истории.

А пока энцы начали укладывать поверх танков осинового панели, потому что променады за хлебом стали ещё насущней, а число зрелищ удвоилось. Осины вокруг N хватало; господи, да ничего кроме пеньки, юфти и осинового тайги до никогда не достижимого горизонта окрест N и не было. По панели бегалось далёко и легко (во всяком случае туда, когда абалаковский рюкзак за спиной полон воздуха, а не буханок, а глаза пусты и навывкате, а не выплаканы и все в людях, сидящих на колу). Детям в окровавленных одеждах — нравилось безумно: «И помчались по панели / Нелли, я и папа Нелли. / Путь не то что бы корóток: / от ворот до поворота / вокруг собственной оси, / знай, от выстрелов труси́. / По панели, по панели / я могу нестись

неделю, / потому что тротуар — / удивительнейший дар: / он упруг и полон сил, / наш осиновый настил», — орали все мелкие града N, спеша смотреть на казни из первых рядов. Нелли и некоего «я» пулевые осы, вылетающие из перестреливающихся переулков, обычно не трогали: никак не могли угодить в эту юркую мелочь, а вот папу Нелли на обратном пути ужалили в голову. Живущие внизу танкисты стащили его к себе, чтобы торговать с верхними тем, что нашли в его карманах. Не нашли ничего, кроме мёртвых табачных крошек.

Казни на (старом) Лобном месте проводились по сто раз на дню.

Палач после перерыва на обед, который излечил его от пахучих кальсон, шума в ушах и крови амбалов на гимнастёрке, во-первых, казнил модильяновку, когда она отказалась остановить «своих». «Анька, дурочка, похорошему прошу: останови своих, ибо озверели они, — сказал ей палач. — Хочешь час в прямом эфире и изо всех громкоговорителей моей столицы? С трогательными и убедительными словами помочь? У меня есть писатели, сочинят — закачаешься, и подлецы сами принесут мне свои головы. А потом из тюрьмы выпущу. Соглашайся». Модильяновка хохотала на это три дня и три ночи, до изнеможения палача. «Нет в тебе больше никакого смысла, Анна Вячеславовна, — сказал он ей на рассвете, когда от неё ушли те, кто три дня и три ночи склонял её между приступами смеха к правильному решению, погружая её голову в воду. — Пошли, что ли, уже. И никаких тебе оркестров за такое. Сам буду бить в ладоши, ты только напой, а я подхвачу, у меня знаешь какой голос, у меня знаешь какие слух и чувство ритма. Ибо не веруешь в меня — казнена будешь, повешена, что ли».

Было ветрено. Ещё бы чуть-чуть, и дети из первых рядов сами покатались бы к Лобному, но на их шеи успели накинуть петли. Модильяновка, тростиночка в тюремной робе, с лохматой верёвкой на длинной шее, стояла лицом к этому едвалинеурагану и, временами взлетая, пела тонко-тонко, волосным голосом, от которого захлёбывался сам

ветер, и с таким высоким чувством, которого нет и никогда не было в этой музыке и в этих словах: «Winding your way down on Baker Street / Light in your head and dead on your feet / Well, another crazy day / You'll drink the night away / And forget about everything / This city desert makes you feel so cold / It's got so many people, but it's got no soul / And it's taken you so long / To find out you were wrong / When you thought it held everything...» На этом ничего не понимающее Лобное, все эти десятикопеечные дети с проволочными удавками на шеях, пожизненно датые слесаря танковых заводов и швеи галифе-гульфиков взвивались и, не зная слов, не понимая слов, старательно и чисто выпевали вторым голосом: «You used to think that it was so easy / You used to say that it was so easy / But you're trying, you're trying now...» Сволочь отрешённо прихлопывала, но даже у неё наворачивались слёзы. Или что там капает у сволочи из её голубых глаз на лобном ветру? несимметричный диметилгидразин? кураре?..

А во-вторых, сволочь, уставая зверски, но никому не перепоручая, казнила всех остальных, объясняя свой трудовой порыв в прямом эфире и изо всех громкоговорителей категориями «моё» и «подлая необъявленная война»: «Это моё и ничьё иное. Только это спасёт нас во дни подлой необъявленной войны против наших вековечных устоев. Всегда спасало. Спасёт и сейчас. Ещё больше казнимых, ещё больше зверства, ещё одна смена ещё одного танкового завода в качестве искренних зрителей, ещё больше случайных жертв расстрелов и/или повешений из числа самых искренних зрителей, ещё больше любовного молчания не только в ответ на казни и молчания негодующего в ответ на происки врагов, но и молчания как нормы, для чего с этого часа вводятся превентивное вырывание языков и ничем не спровоцированные пытки на дыбе для женщин — женщин, особенно матерей, а на дыбе для детей — детей, особенно трёхлеток. Установим же по всему стольному граду N лототроны, спасительные устройства для непрерывного произвольного определения казнимых. Так победим, падлы».

Поговаривали одними губами, перемигиваниями и пожатием плеч, что по ночам на Лобном вместо палача работают двойники, но нет: разве могли двойники мочиться на только что казнённых? Кто бы им позволил...

Казни на Новом Лобном месте проводились по сто одному разу на день.

Казнимые не пели, хотя их зачем-то спрашивали: «Спеть хотите?» — «На своих похоронах?» — «Действительно. Извините»; заводы и ателье на казнь пока не сгонялись, но и от желающих отбою не было. Обладатели новых галифе, экономя патроны, сажали на кол *всех* обладателей старых галифе, особенно тех, кто сдался, а значит мог быть посажен, ибо дышал и даже выкрикивал здравицы палачу, поняв, что сдался зря. Танкистов казнили на плахе: сначала, не разобравшись, четвертовали, а потом, обидевшись на неодобрительный смех зрителей, стали рубить головы и только головы, которые выставляли «в назидание», насадив на кол.

И только Анин Димочка, сын модильяновки, с сотоварищами того же горячего, но холодного возраста и сходной судьбы вешали, вешали, вешали, отвечая на каждое новое повешение на (старом) Лобном месте двумя — на Новом, а после — в томительном ожидании новых живых врагов — писали в новой школе диктант «Они начали первыми», сочинение «Они никогда и не заканчивали» и решали не всегда математическую задачу о переполненном трамвае и трёх телах в старых галифе на трамвайной развилке: одном живом, взявшем в заложники твоих друзей, с которыми ты вешаешь врагов, и двумя заминированными мёртвыми, которые положены на пути «в назидание». И, конечно, вернувшиеся уроки пения: что же такое они пели в новой школе... что-то старое, но такое вечно новое... «Весь мир насилья», его. А вот вешаемые ничего не пели: им, собакам, заливали рот свинцом.

Улица в не всегда математической задаче называлась как-то иначе, не Бейкер-стрит...

Скраббл

Хуже... то есть чреватее... всего то, что дорогой Димочка пристрастился принимать ванны. Когда ты весь в крови, живой или кажущейся, горячая вода так и тянет. Мальчик счищал чаще кажущееся, чем живое, зубной щёткой, соскабливал лезвием «Река, впадающая в одно море», а пятна всё равно проступали, если не сразу, то сразу после первой казни нового дня. Ну и чёрт с ними, зато вволю покурил. Спуская воду, Дима играл с гнидами, которые то ли жили тут всегда, то ли попадали с водой из крана (он ведь даже не чесался): плескал в их маленькие зубастые мордочки грязную мыльную воду, вызывая у гнид восторг: так с ними ещё никто не обращался. Рядом с ванной в скраббл с «ё» вокруг слова «жопа» по вертикали резались часовые, начитанные товарищи по Новому Лобному. Потом наступала их очередь отбеливать себя, и на часы садился Дима, чтобы уже чистенькие и ещё грязненькие мучились с его словом «беременность».

Гнида была любезна, гнида постучалась, гнида оторвала от охранника бобровый воротник, не заходя в мою сибирку, бросила его на пол и тщательно вытерла о него ноги: «Можно?» — «Теперь можно, гнида».

Гнида была в легчайшей панике: «Я вот что. Ты не мог бы подтвердить нам, что вот эти... — Он передал мне том на полтора пуда. — Тут несколько миллионов имён с адресами и прочими приметам, половина моего ненаглядного N с его изумительными кофейнями... что вот эти несколько миллионов участвуют в твоём заговоре? Как думаешь? Смог бы? Тебя это не затруднит? Очень надо. Я был бы тебе признателен. Процесс? Устроим завтра же. Тебя оправдаем, а их, как ты и предлагал, распнём. Поставить несколько миллионов крестов — раз, если разобраться, плюнуть. Весь мир содрогнётся от их потенциальных злодеяний. Как думаешь, тебе хочется уже послезавтра быть дома? Это не обременительная просьба? Или у вас другие планы? Тогда какие? Я заранее готов к их всеобъемлющему удовлетворению».

«Керосин», — сказал я. — «Что “керосин”, дорогой мой человек? Или вы сказали “бензин”? Какой? 98-й Сколько? И для чего же?» — «От гнид помогает керосин». — «У вас гниды?» — «У нас у всех ты». — «Ну как знаете».

Вышел на цыпочках, дверь закрыл едва слышно, не на все замки. Это было на рассвете.

На закате постучались ещё более просительно. Кажется, на морзе это было «можно?». Чего опять? Я читал, выжигая глаза на 500-ватном сварочном свете, «Памятную книжку о ношении орденов и медалей», в которой между строк чего только не было написано, и всё моей рукой. Вот зачем я испортил себе захватывающее чтение?.. Чего у вас опять? Не опять, а впервые: предводительствовала водка, графины водки, затейливым узором стоявшие меж чаш с чёрной икрой на столе на две очень, очень прожорливые и пьющие персоны, мою и её, гниды. Голые барышни, которых как ни раздень, всё равно пахнут службой, почти дружно задирали ноги на высоту моих плеч. Палач и присные были без штанов, то есть без галифе и нижнего белья, в одних кителях с сорванными орденами и погонами, причиндалы (дались они мне) были синенькие и теребились служебным коридорным сквозняком. Служивая шмара с дейнековским сердцем, которую мне как-то подсовывали, была в белом полковничьем кителе, с рукой то на плече гниды, то на его мягком (мягком ли?) месте; она то и дело целовала гниду в губы (есть ли у гнид губы?). «Привет, милый, — сказала она мне, — чего тебе скажу-то».

Я вышел в коридор, взял вилку (они отшатнулись), проколол ею палец, дождался крови и вытер палец о новейший туалет новейшего полковника: «Да?»

«Ты не мог бы сказать *своим*, чтобы они угомонились? Милый, ну пожалуйста. Чего тебе стоит». И? «И как только они сложат дреколье, ты выйдешь отсюда с повышением: Его Величество уже подписал указ о назначении тебя послом в Чёрном море». И? «Ну чего ты какой-то? Постройшь в центре моря собственный понтонный остров...» Бонтонный? «...и будешь припеваючи загорать

как сыр в масле, собирая дань с проплывающих мимо. Ты же всегда хотел удить рыбу, не так ли?» И? «Ну чего “и”? Мало, что ли? Призови своих хотя бы к перемирию». А, так у вас война... «Нет у нас никакой войны, но они не правы... А хочешь Его Величество сделает тебя личной лошадкой для парадных выездов? Ты впереди, сзади ещё двое-трое, вас накрывают красивой каурой попоной, — и вперёд на Красную, гарцевать и давить зазевавшихся. Нет?»

Нет. А что с моим процессом?

«О, с твоим процессом, спасибо, что спросил, всё прекрасно. Но ты с ним отстань пока, не до него нам сейчас. И вообще: твоих чистосердечных наветов нам выше павлиньих перьев на кивере, и они до того кроворечивые, что в них поверит и стар и млад вся планетки, которая будет пялиться на тебя в прямом эфире всю рабочую неделю процесса, если для него придёт теперь время.»

То есть никаких больше двухчасовых предрасветных женщин с длинными шеями в обмен на самооговор?

«Ага. Ой, да что это я: кушай же чёрную икру столовой ложкой. Вся — тебе. И водочкой запивай, только утихомирь своих. Напиши нам такую листовку, чтобы они прониклись и сели за стол переговоров. Мы ею за ночь весь стольный N заклеим. И ещё с неба разбрасаем. Я уже говорила “ну чего тебе стоит?”? И ещё сто раз скажу: ну чего тебе стоит?»

Не-а.

«К чёрту листовку, ты прав. Давай так: Его Величество предлагает беспрецедентное...» Какое-какое? «Такое, какое сказано: перевести трения в стольном граде N в плоскость БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ».

Чиво?

«БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ каждую неделю. Место Его Величество предлагает старое, историческое. Его Величество говорит, что огородит все эти немислимые гектары крепостной стеной, внутри, как в цирке, рассыплет карьеры пляжного песка, возведёт круговые трибуны немислимой высоты для лучшего обзора, — и пожалуйста: твои против наших, с одним дреколем, пешие и на лошадках...»

На лошадках? Лошадок не жалко?

«Хорошо, только пешие, десять, допустим, тысяч ваших пеших с дрекольем против наших таких же. На смерть. Столько, сколько надо, чтобы “на смерть” заставило одну из сторон сдаться. Победившая сторона правит в N неделю. Через неделю — новое БОРОДИНО. Его Величество сидит на возвышении и отдаёт команды. Ты сидишь на холме и распоряжаешься своими. Униформисты, конференсье. Кровь проливается большими и маленькими реками и попадает в специально построенные лучшими мелиораторами отводные каналы. Лошади... нет, без лошадей... Гремят барабаны, гудят горны. Маркитантки с обеих сторон привозят на передовую донорскую кровь лучших групп...»

И эта гнида, которую ты обнимаешь за ляжку, вдруг подаёт команду бомбардировщикам, и те бомбят «моих»; раз — и нет больше десяти тысяч лучших из «моих». Ей же нельзя верить. Это же гнида. А если не додумается до бомбардировщиков, то прикончит отдыхающих «моих» за неделю между СРАЖЕНИЯМИ. У вас же сексотов больше, чем гнид в его нижних волосиках.

«А если не прикончит, будет новое БОРОДИНСКОЕ. И вы опять сумеете победить. Ты только представь, какие перспективы это открывает... Ну чего тебе стоит?»

Пошла отсюда. Все пошли отсюда. Торгаши. Проходимцы. Вон отсюда, фауна! Только безоговорочная СВОБОДА!

На слове СВОБОДА их — всех их — стало рвать.

Пошли вон! Весь мой застенок заблевали!..

Футбол

Больше всего я соскучился по собаке. Больше всего мне хотелось взять дорогого пса на руки и нести его, такого живого, тёплого, резкого, плотного, пульсирующего, вкусного... так бы и исцеловал его бестолковую преданную морду, которая замирает от счастья, когда я тычусь своим носом в его нос... и нести его, утонув

носом в его заливке, подальше от этого места, где мы не вместе.

Я этого не видел, а о том, что это было, догадался только тогда, когда они открыли дверь моего застенка и спросили насупленно: «Ты кто? За что сидишь?» Ясно, что я уже отупел, потому что они кричали: «Гол», а я даже не подумал о футболе.

Мальчишечий гам за дверью означал футбол. Надо же, футбол, в тюрьме, в этом бесконечном вонючем коридоре.

Мальчишки играли на моём этаже в футбол головой палача — и падали, наступая в его блевоту, которая никак не могла высохнуть за шесть, что ли, часов.

На моём сварочном свете кровь на них была такой бледной, такой невыразительной, что я опять не сложил два и два, подумав лишь, что они в чём-то изгваздались. А они были в крови.

«Ты кто? За что тут?»

Голос мальчика не говорил мне ровным счётом ничего. Милый голос милого мальчика лет двенадцати. Чуть взвинченный, но это, верно, волнение, они, верно, будут нас выпускать. Кто-то хороший дал юной поросли хорошее поручение...

Никто их ни о чём не просил. Они сами собой распорядились.

Ночью было «Бородино» (не было никакого Бородина, была решающая заготовка фарша; вот о чём ворковали голуби в моей отдушине на трёхметровой высоте), и их, боевых мелких, осталось куда больше, чем взрослых с обеих сторон, особенно взрослых с палаческой стороны, а их взрослая сторона сейчас спала разными видами снов, и голова, на которую у победителей были виды, осталась без присмотра. Но победители уснули, и голова оказалась футбольным мячом.

«Ты кто?»

Кто же я? Я... я тут... Господи, да это же Дима. Те же глаза, тот же голос, который когда ещё сломается.

«Дима, — сказал я, — дорогой Димочка, это я».

«Я его в первый раз вижу, пацаны», — отмахнулся от меня Дима.

Это правда.

«Мало ли кто тут сидит. Пусть сидит».

«Дайте хотя бы бумагу. Мне одну мысль надо записать и донести».

Бумажку нашли. Хорошие мальчишки, без легко объяснимой (а то и законной) злости бог знает к кому.

Глава 5

Дорогой читатель этой писульки! Он, Димочка, дорогой мальчик моей Ани... ну как моей, я видел (почти не видел, была темень) её всего один раз, он переписал четыре предыдущие главы и спрятал рукопись под спичками в балабановских спичечных коробках в дальних углах подпола дома с печным отоплением. Если стольный град N не выгорел, или выгорел не весь, пожалуйста, найдите этот дом и эту рукопись. Найдите его и найдите её. Это важно, важно и исчерпывающе, как инструкция, написанная кровью, важно и исчерпывающе настолько, что, прочитав всё, вы наконец-то сумеете вытащить себя из НЕСВОБОДЫ, даже если вы найдёте этот дом и эту рукопись не завтра, а через пятьдесят лет.

Я написал это на листке, из которого свернул голубка, и попросил запустить его на воле человека (мне показалось, что он сначала человек и только потом надзиратель), который ходит по моему этажу всю ночь и кричит: «Час ночи. Надзиратель Такой-то проводит обход камер...»

Прошу вас.

Справочник убегаю

М. ГРИ



Отсюда

Повесть
в
письмах

ст. Ока
Тридцатое февраля
2025

Новые
романы
для чтения вслух



Окрыляющаяся

Здравствуйте.

...Из неведомых глубин незнакомого мне дикого яблонного садика, борющегося за мир с победившими человеичниками, застенчиво... нет, сомневаясь, вышел мальчик лет семи и замер около старенького белого налива: смотрел на меня и вздыхал. «Здравствуйте. Это же белый налив? — спросила я у неровно дышащего всматривателя. — Я не ошиблась?» Он погладил яблоню и опять вздохнул. «Значит я не угадала», — зачем-то вздохнула я. «Тут очень круглые яблоки. Раньше я думал, что таких не бывает, но два года назад, когда, дочитав орфографический словарь, я стал взрослым, — тут же увидел это. Это первое, что я заметил, повзрослев, — сказал он. — Они о-о-очень круглые. Когда они падают, ничто не мешает им лететь и катиться. Поэтому они падают на секунды быстрее других — и стремительней других катятся, если дует попутный ветер. А сегодня я увидел, что вы тут не случайно: у вас тоже очень круглые глаза. Вы подходите этим зарослям». «Круглые? — переспросила я, и спросила невпопад: — А хорошо ли из столь круглых яблок повидло? — и немного подумала об этой форме яблок и глаз... — Циркуля с собой нет, поэтому я, если позволите, научу вас рисовать идеальный круг на чём угодно в любую погоду. Вы же позволите?» Вздохнув, он кивнул.

Как в любой светлой книжке, было утро, была роса: час назад в ней можно было принять ванну, а сейчас она только была. Самое время для рисования правильных кругов. Подумав, что я наконец-то кому-то пригодилась, я воспарила рукой и, оказывается, круглым глазом — и нарисовала на травяной росе семь безупречных кругов, один другого правильной, в которых могли уместиться семь планет. «А где же мы?» — спросил мальчик. «А мы тут. Не могу же я нарисовать такой огромный круг. К тому же он

не очень правильный». Мальчик вздохнул. «Неужели вы не поняли, как я это делаю?» — спросила я. «Не в этом дело... Нет, я понял. Но обязательно проверю, понял ли я, когда вы бросите нас. А при вас не стану — боюсь ошибиться».

Брошу их? Дело было вот в чём: вздохнув, он сказал, что он влюбчивый. Я едва не расхохоталась, но спохватилась, вспомнив, что тоже так... умею? — делаю, делаю: раз — и кто-то хороший уже не хуже Бориса Леонидыча, и, если бы он рифмовал, я могла бы читать его всю дорогу, смешно шевеля губами (однажды мне показали, как я это делаю; цирковой номер). Ну а влюбчивый мальчик был из экологии: летом он вскакивает с солнцем и идёт под сень яблонных старушек: читать и «перечитывать»; сегодня с ним был, боже мой, Сенека, «О стойкости мудреца»; потом он думал о прочитанном, с чем-то, ох, не соглашаясь; но не так, как это сделали бы, о господи, «офицеры СМЕРШа»... «Я не ослышалась?» — спросила я читателя Сенеки. Он кивнул: дескать, прозвучало то, что прозвучало. Потом в инвалидный сад вошла я. И сначала мои глаза были «как у всех»: печальными. Но вскоре округлились, «и всё ещё остаются такими». «Это потому что меня посетил человек с чаем», — объяснила я. Мальчик вздохнул, кивнул, помялся и признался: видел, знает: «Раскладушку не предлагал принести?» Нет; а чай был горячим, не из пакетика; кроме того, были ложечка, сахарница и даже долька лимона; а чашка такая славная. Да-да, кивал головой мальчик: «Мы тут все такие: припадочные». Припадочные? Мальчик рассмеялся: такими «всех их таких» иногда называют чужие, те, кто на «вам помочь?», отвечает лаем. «Лаем?» — «Или заливаются, или отрывисто, по-разному». А, поняла.

Человек с чаем оказался «внебрачным папой» мальчика. И если у меня округлились глаза, «что здорово, потому что вы не лаяли», то у мальчика, появилось опасение: «Папа увлекается. Также влюбчивый. Я переживал, мне было неудобно. Я прятал глаза в книжку, но всё равно посматривал». Я расхохоталась (хохотала сегодня — без остановки): «Припадочные?» Всколотнул и он, этот стоический мальчик: «Ага. Я испугался, что он забудет о работе».

Вот так я наконец-то поняла, что круглые глаза для меня — норма, что я, гм, окрыляющаяся. Или лучше «воспаряющая»? Для этого надо было отойти от станции, потому что у электричек в нужную мне сторону произошло что-то личное и они не могли вернуться к бегу раньше «после перерыва». Для этого надо было набрести на это престарелое (но не умирающее, ещё чего) яблонное место и сесть с прямой спиной (рюкзак-то я так и не сняла) на скамейку. Для этого надо было, чтобы кто-то увидел тебя с вершины челевейника. Для этого надо было, чтобы этот кто-то оказался «припадочным». Невероятная цепочка событий. Но она каким-то чудом исполнилась. И, да, надо было, приложив правую руку к щеке, просидеть, вперившись во что-то впереди, битый час. С мокрыми от росы ногами. А спинка у скамейки была. Я кого-то... напугала?... вызвала у кого-то жалость... тревогу... чувство. Этим кем-то оказался «припадочный»... И я опять расхохоталась.

Если честно, дело даже не в электричках с их интимными проблемами. Это я, я задумалась: а двигаться ли мне дальше к краю родины — или плюнуть и повернуть вспять. Не такая уж невероятная цепочка, если тебе вдруг задумалось о таком в первом конечном городке, до которого тебя довезла первая прямая электричка. Не такая уж невероятная, если у тебя, помимо прочего, болела голова. А аспирин я забыла. А попросить у вас, добрый человек с чаем, постеснялась. А аптеку ещё искать надо.

А я ведь даже не выпиваю. Но — проводы же. Собрались трое (двое провожающих) дев — и как выпили втроём одну бутылку красного! И как всплакнули, наговорившись. Вот голова и не на месте. Добрый человек с чаем, никогда не соображайте на троих на своих проводах в неизвестность :-)! Впрочем, если вы памятливым (аспирин!) — то соображайте, чего же не соображать... Хорошо ещё, что убежать я решила электричками. А ведь поначалу собиралась пешком. Пешедралом. Убежать. Всё равно что бегом, но в снег и тайгу. И, конечно, на каблуках? А почему нет. Вот в этом самом конечном для первой прямой электрички городе N всё и закончилось бы: каблуки сломаны, ноги если не стёсаны, то в кровавых мозолях, дальнобойщики хамят и почти

наезжают всеми своими правыми колёсами, засасывая под себя пешеходку. Не выделяйтесь, убегая даже пешочком, не мозольте никому глаза, доказывая себе глупое: я смогу не только это (убежать), но и то (пёхом и тропами). Нет, в толпе правильной: и укрытие, и электричка сама на кого хочешь наедет...

«У вас есть писчая бумага и конверт? Ручка у меня, странное дело, есть. Аспирин нет, а ручка со мной. Кто сейчас пишет руками ручкой...» — мобилизовав всю свою наглость, обратилась я к мальчику лет семи, который зачитывается Сенекой. И он сказал, что немедленно принесёт. И принёс. И я столь же нагло попросила его почитать мне Сенеку, пока буду писать: «Я быстро пишу. Вам не наскучит». А Сенеку-то он оставил дома, когда бегал за бумагой/конвертом. И он сказал, что тут же отправится за Сенекой, и степенно удалился. И мгновенно вернулся, и читал мне этого древнего чувака, комментируя какие-то моменты (в которых разбирался лучше всего? недоразобрался?). А я строчила... строчу это письмо. Оно, мне кажется, получается благодарным. Или благодарственным?

Сейчас я напишу, что попрошу мальчика бросить писульку ни о чём и ни к кому в любой квартирный ящик для корреспонденции в его доме. Или в любой почтовый ящик в его городе (если в нём остались почтовые ящики). Или, если он захочет, отдать его «внебрачному папе». Я не знаю, как он поступит.

Итак, я не знаю, кто прочтёт это, но если вы тот, кто напоил меня чаем, а раскладушку, чтобы я отдохнула под сенью бабушек яблонь после долгой поездки с больной головой, не предложил (а я так надеялась), вот вам мой адрес, если захотите... Интересно, чего вы можете захотеть... Может быть, извиниться за то, что не догадались притащить раскладушку?.. Вот, вот вам мой адрес: до востребования в городках, до которых добегают прямые электрички в направлении ОТСЮДА, если двигаться из моего пункта А через ваш благословенный Энск, человек с чаем.

Нет, я не помню, как меня зовут. Верней, я ещё не решила, как меня зовут теперь, когда я, такая мигреневая,

куда-то выдвинулась. Поэтому смело пишите на конверте: до востребования, электрической дуре, которая предъявит паспорт с серией-и-номером.

Денежку для марок в конверт — положила.

Поеду-ка я, убегая, дальше, пока не передумала.

А вы никогда не хотели фьють?

До свидания. Э-э-э... то есть прощайте.

Припадочный

А, так вы всё-таки написали :-).

Привет, привет. Мой мальчишечка высоко-высоко о вас отозвался. Сначала отозвался («Та, у которой круглые глаза». — «?» — «Ну та, которой ты вынес чай...» — «А». — «Она мне понравилась: понимает в наших круглых яблоках...» [ему всего семь, а мысли уже седые]), а потом передал ваше письмо «на энскую деревню кому бы то ни было» (и немножко мне, его припадочному «внебрачному папе»). Не разбросал по всем нашим ящикам, а, подумав и навздыхавшись, разбудил ночью и сунул в сонные руки. Всё-таки вручил.

Почему «всё-таки»? Я не знаю. Ибо такое даже предположить было нельзя: какая-то проезжая, а я вдруг: «всё-таки написали» :-).

О, я вас помню :-). В тот же день, оторвавшись от точения энного снаряда («мастер, я в кладовую: за резцами» — а сам под дождь, под дождём мне строчится; до нитки — зато стишок в голове сухой... не в том смысле сухой, что...), я черкнул строк тридцать, фривольных-фривольных, но, чего уж тут... Черкнулось, пусть теперь будет. Если хотите, не относите это к себе; а не хотите — относите :-). Вот:

Потрогать тонкий смуглый шёлк не то же, / что прикасаться к загорелой коже / летающей по дому дамы N, / на май и лето, «на сентябрь? — быть может», / оставшейся,

«а там не-лето съёжит / потоки косохлёстов до морен, / и не походишь с голыми ногами». // Всё это время, то есть «месяцами», / N неодета: «Летом ни к чему / летать по дому в подвенечных платьях / и в чёрных скорбных платьях при оладьях, / компотах, щах и яблоках, в дремú / валясь, устав. А также луч светила! / Дотягивается, где б ни ходила, / и греет свою N. А также ты! / Сама длина — вот что такое руки / твои, меня доставшие на юге / и к северу несущие, где льды: / остывшие перина и подушки». // В июле привыкаешь: до макушки / краснеть перестаёшь и даже глаз / не то что не отводишь — наблюдая, / не видишь и того, что с маху в мае, / слепя глаза, гвоздило. // Осень — раз, / и расцвела, и, как и говорила, / N собралась, N уезжает, стыло / N стало. N, совсем не была! / N в тонком смуглом шёлке, и под платьем — / одна она. Страдаю, N! Пожатьем / плеч отвечает: майся до тепла.

(Вот только куда мы денем мальчишечку, если вы ходите в таком виде :-)?)

Значит ли это, что вы вернётесь в Энск с новым теплом :-)?

Простите. Я знаю, это даже не шутка, но шуточка, и шуточка сволочная. Неуместная.

О, я помню, я такое всегда помню, — потому что не могу сдержаться, выбегаю. Никогда не забываю тех, кто сидит в нашем яблонном перелеске так, будто завтра не будет. Оно и впрямь не настанет, но знают об этом немногие, и потому сидят так немногие. Вы — первая из немногих:-), которой я написал. А первая из немногих, которой я не писал, сидела под ливнем и читала: вслух — но книжку, а не из головы; вскоре книжка распалась на главы, которые друг дружке не помогали, и утонула, а утопающая была поднята со дна, отведена в тепло и съела полбанки мёда. Больше я её не видел, отчего написать ей не мог, зато написал о ней, но она этого не читала, не фыркала, не указывала на двусмысленность. А с вами всё иначе. А у вас всё в руках :-).

А мой очарованный мальчишечка... Сейчас у вас будет футурошок, а от него помогает нашатырь под носом. Есть он (не нос) у вас? Вряд ли, если вы даже аспириин забыли.

Побегайте по Энску-2: вдруг в нём есть аптека, а в ней — нашатырь. Не спешите, я подожду, без нашатыря ни слова больше не напишу... Есть? отыскали? кто-то на улице поделился? Хорошие же люди в Вторознске. Надо бы там побывать с какой-нибудь проблемой...

Мальчишечка тоже что-то написал:

«Как яблоки под деревом свербят, / что их, небось, не превратят в повидло!» — / Глаза таращит, чемодан подвида / «для паданцев и, может быть, опят, / когда ты соберёшься по грибы» / уже в руках, суёт: математично, / мол, уложи и получи «отлично»: / «Осенней полосатой шантрапы / слетели чемоданы, и одним / не обойтись, но это не сегодня. / Сегодня (о!) — один, в котором сотня / уляжется небось. Давай засим». / Засим даю: сорвавшихся толпу, / галдящую: «Даёшь из нас повидло; / свалившиеся на́ Землю не быдло; / и черви наши — лакомство», гребу / лопатой для метелей в чемодан / и плотно упаковываю сферы / неравные весьма во имя веры / в повидло на горбушке с маслом, ан // сумею я, улягутся они.

Но шок, надеюсь, приятный. Я и сам удивлён. Впрочем, не первое. (А. С. своё в пятнадцать же накарябал :-)? А И. А., кажется, в шестнадцать? А этот... Куда катится мир?)

Мы живём, спасибо, что спросили. А отчего бежите вы? Не от осени же... Я даю норму. А вы норму, простите, не давали или не захотели давать? В какой отрасли вы *не* или *не*? Думаете, я сволочь, если даю *такую* норму? Разумеется, я — она, но... Чёрт, у меня есть «но» (у всех есть чёртово «но», а у кого его нет — тот... какое нам до него дело? — никакого). Но ведь мы с мальчишечкой одни: мама у нас была, да вся вышла, а я был у неё, гм, «отдушиной» (в её «нелепой семейной жизни»), а потом появилась другая отдушина, не такая простецкая, как я, и не такая здешняя, и мой — мой — мальчишечка достался мне, чему я, токарь (потому что хорошие инженеры теперь не нужны), но я, если надо, и неплохой фрезеровщик (представьте себе), очень-очень рад. А снаряды оттого, что точение иного теперь тоже никому не... Нет, точить красивые металлические...

бигуди (!) тоже можно, но за три копейки. Знаете ли вы, что наточить «бигудей» на всю родину стоит три рубля?..

Мы живём изумительно. За чаем (я, впрочем, не чаёвничал, вы так и не дали мне отпить из вашей чашки :-), я смотрел на вас, не мог оторваться) вы говорили о своём изумлении: в воображаемых снегах и тайге, окружающих вас, нет места горячему чаю с двенадцатого этажа незнакомого дома; затем снегá и тайга вдруг сменились голой степью (вероятно, вы заметили, что на дворе лето), и вы заговорили об одиноком степном растении, которое вытягивается вверх только потому, что у него есть упрямство, тогда как зимой степь втаптывает его в себя снегами и чужими копытами, а в предзимье (это второе время года? вы от него «фьють»?) выветривает его прочь, что тоже изумляет, потому что это обращает степь в ледяную пустыню. Но и мы изумляемся: каждый вечер я узнаю что-то новое — мальчишечка делится дневными открытиями; я так поумнел, оставшись с мальчишечкой один на один и вместе, что скоро это начнут замечать и, следовательно, бить, пороть и забивать кирпичами. Он пока разбрасывается: стоики, стишки, музыка (ей-богу, поёт, как Робертино; рисует клавиши на столе, — и я слышу музыку, которую он играет), математика; но больше всего мне нравится его ненависть к СМЕРШу (ещё одна дурацкая... или не очень?.. шутка). Помните в его стишке слова про укладку сфер? Математика. Она точно его. В этом он не разбрасывается. В этом он весь (сказал «внебрачный папа», у которого нет ничего, кроме этого «математика»; впрочем, это сказал инженер, которого очень хорошо учили и который всегда очень хотел «всё знать»).

Думаете, в электричках ему будет хорошо? Впрочем, он помнит (верней, знает) таблицы Брадиса, поэтому чем ему может помешать электричка... Он на... логарифмической линейке считает быстрее суперкомпьютера.

Бориса Леонидовича — люблю.

Может, и до свидания (кто знает).

Попросил мальчишечку бросить это письмо в один (из оставшихся) почтовых ящиков Энска. Ящик-то есть, но ходят ли письма? Узнаем!

Не убегайте хотя бы от этого письма.
До свидания, электрическая дурочка.

Соплистка

А, так вы всё-таки получили :-).

Здравствуйте, папа чудо-прелести (оба стишка — прелестные; неужели свой вы, гм, сложили сами, сволочной снарядный токарь :-)?). В Энске-2 провела два дня, ибо ждала любовного письма от одного фрезеровщика :-). Как быстро я впала в юность и одевичилась: всего за два электрических перегона (говорят, электричества скоро не станет, ибо дрова вернее электричества; что же, буду размягчаться впредь за один дровяной перегон).

С почты, вокруг которой, знакомясь с окрестностями Энска-2, ходила сжимающимися кругами, выгнали («закрываемся на невпроворот домашних дел, отдохновение и короткий летний сон!»), напоив чаем (опять чай; «а чай-то наш уже пробовали?»), когда я дошла до центра окружности и засела в нём, ожидая обретения почтой единственного письма. Правда-правда: единственного. Не из города N, а вообще. А письма до востребования так и вовсе приходят сюда раз в поколение. По пути перезнакомилась со всеми гусями (патрулируют! нагло стоят на пути! шипя, требуют аусвайс! а когда я, испугавшись, убежала, пытались настичь, чтобы — что? зашипать до кормового состояния?), коровами (прегрустные; любопытно, молоко у них тоже препечальное? вот бы попробовать; уверена, в пункте А нас поят веселящим, но где они его добывают?) и колдобинами. Единственное письмо, да и то не аборигену, а какой-то путешествующей, привезли на велосипеде после обеда на следующий день. Бьющую копытом путешествующую зазвали в помещение:

«Прохаживающаяся, идите сюда. Вы, конечно, вы. Чего дадим-то. Хватит вам слоняться. Все ноги небось стёрли. Вы нам уже почти родная» и накормили блинами; каждый блин с косую сажень, а толщиной — с лёд, о который бьётся утонувшая Лидочка. И только потом показали, как принимают письмо. Торжественно: торжественно приехал велосипедист, торжественно передал почте письмо, торжественно расписался в кондуите, торжественно испил чаю. Потом было торжественное вручение: у меня торжественно проверили паспорт и торжественно спросили про «электрическую дуру», я неторжественно замяла. Вручали с аплодисментами и музыкой (неужели патефон?); я ещё подумала: надо ли перекреститься или достаточно поднять руку в пионерском салюте... Потом наивно спрашивали: «от кого», «о чём», «какие там новости». Почтовая собака Дамка, полюбив меня, проводила до станции, испортив день почтальону, который предложил подвезти меня на раме велосипеда.

На почте вкалывают двое: начальница и почтальон. Почтальон — ничего; хочу ему написать, о чём ставлю вас в известность. Ничего — потому что упробил начальницу, его старшую сестру, позвонить куда-то, чтобы узнать, есть ли корреспонденция для их отделения и когда её доставят; потому что не стал скрывать: «Обещали завтра. А там — как знать...»; потому что приютил: «Скоро ночь, дамочка, куда вы пойдёте? У реки холодно, солнце-то на ночь заходит; в воде, конечно, тепло, но спали ли вы прежде в водах нашей реки? Айда ко мне, у меня есть сеновал».

На сеновале так сладко грезилась самая последняя электричка, после которой начинается... что же там было-то... что-то вроде чекпойнта Чарли, только в надувных розовых шариках и оловянных гэдээровских солдатиках, стреляющих из игрушечных винтовок в тех, кто на ходу пришивал меня суровыми нитками к вязкой пустоте родины. Из дул, кстати, вылетали не бумажные рододендроны, а настоящие эклеры. Гадёныши, которые пытались удержать меня на родной сторонке, быстро приспособились: распахивали свои клыкастые пасти, и эклеры переставали промахиваться, сразу же попадая в

желудок. Попробовала и я: было приторно, противненько, избыточно. Не удержали и не удержало. Знаете, кто встречал меня на той стороне? Конечно, знаете: сэр Элтон Джон, с которым мы немедленно исполнили «Никиту». Сэр трогал меня за, называл соплисткой (не дурочкой) и звал в тур по колымским урановым шахтам... Господи, какая же алисохудожественность снится мне на сеновалах.

Знаете ли вы, что по утрам тут уже заморозки? Ого? Именно.

Нет-нет, ничего кроме снегов-и-тайги у нас не было, нет и не будет, пока я, живая или мёртвая, не пересеку рубеж (кто по-вашему наводит на родину зимнюю порчу?). А предзимье — та же зима, но в тёплое время наших суток, в плюс-минус-полдень, когда вперевалочку ходят дровяные электрички... паровички?.. в общем, паровозы с вагончиками для божьих тварей, которых ещё не ссаживают, чтобы немедленно наказать и заставить тянуть-толкать паровоз, потому что дрова есть, но в холодное время наших суток они не дают тяги, уходят в свисток, а кони используются в колбасе. Но вы ведь об этом знаете и всегда к этому готовы, не так ли, пописывающий многостаночник?

Между вашим Энском и Энском-2 были остановки. Там, где были полустанки, одни пассажиры держали двери, другие проминались, третьи расставляли походные раскладушки и спали, четвёртые играли в пляжный волейбол через несколько танковых ежей, поставленных в два этажа, пятые предсказывали местным завтра, гадая по руке за котелок отварной картошки с укропчиком, шестые скупали у местных скрипки (где-то в снегах-и-тайге этого полустанка есть «мастерская мирового уровня» — так они, покупатели, оправдывались; мол, сам Страдивари кусает локти; пробуя потом покупки, они легко заглушали биение колёс о рельсовые стыки ансамблевым «Собачьим вальсом»; ненавижу), седьмые умоляли местных отправить письма родным и близким, потому что «сегодня жив, а завтра — покойник», и аборигенные женщины, носившие на груди таблички «За ребёночка — запросто», делали это в одноместной палатке на самом краю платформы.

Кстати, мне нравится неявно подсказанная вами идея экстерриториальной электрички, которая гордо чешет по просторам, снося противотанковые ежи и ломая палки, просовываемые в колёса. Куда она спешит? Куда угодно, только не назад и не в никуда. Да хоть в «столыпине», но ОТСЮДА. Поселились бы в такой с мальчишечкой? Не лучше ли это книжного или киношного эскапизма, который вы «продавали» мне между строк? А если с новой, ах, суженой-ряженой? (Не напрашиваюсь.)

Мальчишечку чмокните за отложенный ответ: конечно же, *осеннее полосатое*. Дурочка (какая я): белый же налив совсем, собака не лежит. А вам с мальчишечкой надо витаминиться (и по возможности толстеть) не только до снегов, но и во время, и штрифель тут — чуковский персонаж. А я, лошадь, не признала. Своего проворонила... Кстати, я могла бы преподавать ему сценическое телефонное мастерство. Если мне звонят и оператор говорит: «Внимание, соединяю», я уже не я, а какая-нибудь Мария Шнайдер... Простите: несу несусветное.

(Милое) (моё) длинноухое выючное животное! Лучше бы вы давали норму, выбивая табуретки из-под вешаемых. Я бы что тогда сделала? — Я бы выскочила на полустанке и сносила бы в сортир «для служебного пользования», где за дверью без букв, но с дрищущей шавкой в исполнении Бэнкси, конечно, Бэнкси, рядом с очком столько обрывков «Известий», целые кимберлитовые поля клочков (и как они, труженики стальных магистралей, умудряются этими «простынями» подтираться...). Самый «живописный» обрывок куда бы я положила, папа тако-о-ого мальчишечки? — Верно: в конверт с вашим адресом, который я зачем-то разучила, будто это гамма...

Там, там, не здесь, здесь почему-то ещё не падает, ещё позавчера жил-был папа, папа дома, а вне его фрезеровщик — и такой, рядом с которым все становились хорошими, были плохими, а только с ним поведутся — и уже хорошие. Что он фрезеровал? Да чего бы он не, всё это было на счастье — его и его мальчишечки, потому что их, его и мальчишечку, пришли убивать. Ну а позавчера он

наконец-то прочитал третью главу «Неточки Незвановой» (до фрезеровщиков книжки, особенно славные, порой добираются очень долго), которую собирался пересказать своему мальчишечке, из которого тоже вышел бы дивный, почище папеньки, фрезеровщик. Собирался — да не успел: на следующий день, вчера, вы убили его в своём письме своим снарядом.

Из мальчишечки, которого папа закрыл собой, торчат кишки, а половина папы, та, что была сверху, висит во вздыбленном воздухе и не падает, потому что её не догрызла стая поменявших вкусовые привычки голубей.

С электрическим полуприветом один полудурок ж. р.

Отказала, пропустила

Мон ами письмоносец, бонжур!

Вы ещё узнаете почерк той, что провела ночь на вашем благоухающем сеновале? (А про блох дамочка не будет, блохи тут совершенно ни при чём.) Вы вообще грамотный? почему вы до сих пор не написали мне ни одного письма? я вас не тронула :-)? Я буду в Третьезнске ещё пару часов, успеите, пожалуйста, нацарапать что-нибудь светлое и духоподъёмное и прислать, чтобы я получила, а прочитала уже в электричке, стремящейся попасть в Энск-4. А нет — вы знаете, где я буду вскоре (циферки-то уже прошли?): прибавляйте на конверте единичку, и ваши каракули застанут меня с изменившимся лицом: «Боже, наконец-то мне написал мой любимый почтальон!..» (Обязательно схожу в первый вагон, который раздобыл в вашем Энске-2 бидон браги, и попрошусь выпить с ними за ваше здоровье. Только не стихи, ладно?)

Вы! Почему вы не настояли? В первый и последний раз я каталась на велосипедной раме на выпускном, а тут такой шанс, а я, как лошадь, шла рядом, зачем-то держась одной рукой за ваш руль, а другой крутя хвост

собаке Дамке. Господи, сколь многого я себя лишила, как сильно мне будет не хватать этого ТАМ... Знаете ли вы, что Дамка просилась уехать со мной? что она бежала за поездом до первой остановки, на которой, не найдя меня, расплакалась и обратилась хвостом к моей прослезившейся морде, раздавленной окном... Пришла ли она назад? (Чёрт, кусаются, как же они кусаются. Не вините себя: они просто не устояли перед сладким :-).) В институте бл. девиц нас учили никогда не отказывать письмоносам, которые сажают вас на раму, а я... а я отделалась от вас книксеном. Надеюсь, вам не показалось, что я поставила вас на место. Ничего такого я в виду не имела. Присела от растерянности. И покраснела, как от ещё большей.

Слушайте, а чего вы окали-то? Я же не на север мчусь...

Ухал ли рядом филин? Бегали ли по мне мыши? Мычали ли, засыпая, окрестные коровы? Был ли виден с моего сеновала костёр одинокого рыбака, который решил пожить на реке, пока зима ещё не вступила в, гм, свои права? Интересно, видно ли его с какой-нибудь планеты нашей системы? а если в мощный тамошний телескоп? Что именно сказал им костёр этой ночью? Плескалась ли рыба, падающая во сне с верхней полки? Лежал ли кто-нибудь в яблонном саду (у вас же есть яблонные сады?), вслух (козловским тенором) мечтая (о чём у вас принято мечтать?), допустим, о лучшей доле для своей не такой уж далёкой притырочной любимой? (Допустим, его любимая безмозгла настолько, что, взбрыкнув однажды, состригла до бокса свои рыжие патлы, соскоблила напильником маникюр, переоделась в драгунские галифе и ускакала на колхозной сивке на Воронежский фронт.) Сильно орал? как вы его утишаете? хватает ли одной ночной вазы, чтобы он заснул без задних под самым красивым штрифелем? Что нашёптывал мне сеновальный дурман? как ему отвечала польнь? Лунатировала ли я? Кланялись ли рассвету своими гимническими глотками петухи? Печалилась ли одинокая пастушья дудка, когда занималась заря? Страшно ли матерились похмельные скотники и доярки?.. Чёрт, я всё пропустила; никогда не прощу себе глупого неотвязного сна в вашей пасторали.

В «Справочнике убегающего», который я купила на одной из остановок, напоминают, что ТАМ до сих пор умеют и любят писать, что там пишут письма, делая это по всем правилам этого искусства, что в тамошних школах есть дисциплина «Письмописание», которую дают с начальной до выпускных, что почтальонов, которые приносят письма с новыми рекордами доставки, качают на руках, подбрасывая до второго этажа, что у самых быстрых отнимают велосипед и награждают скаковой лошастью, чтобы он мог соперничать с ямщиками, что почтальонов всегда не хватает, а потому после трёхгодичных оплачиваемых курсов почтальоны ОТСЮДА, при условии, что они люди, могут стать «истинными почтальонами с цифрой 5 на медной бляшке и толстой сумкой на ремне». Какая прекрасная у вас профессия. Там, там, там, там, там.

А вдруг вы не убийца, который точит снаряды, а только говно, которое перлюстрирует письма, и без того три раза перлюстрированные? И что с вами тогда делать? (Может же говно предложить девушке проехаться с ним на раме?..)

Прощайте (наверное).

Сладкая

Здрасьте, точильщик смерти. (Или лучше «хайль Менгу-Тимур»?)

Я так расстроилась, что забыла написать о «норме, которую не давала». Надеюсь, моё признание сблизит мои шансы на ад с вашими (или ваши с моими? не знаю, что незавидней). А то слишком уж я вознеслась.

Я выпустилась из института благородных девиц в то захватывающее время, когда каждая девица почувствовала себя благородной: наш улус вдруг отделился от орды, и родной хан, глотнув стакан либерте, нацедил каждому по рюмашке. И каждая кухарка воспылала самоотверженностью и пр. И я, которую

готовили, оказалась семнадцатой в очереди на выражение разнообразных благородств. Посему из чувства противоречия ударилась в другую крайность, найдя себя в сексе по телефону и переписке. А когда либерте вместе с благородствами прикрыли, даже не дёрнулась: неужели тебе плохо, дурочка, спросила я себя. Нет, мне норм, ответила я зеркалу. Они же тебе не очень противны? Они мне противны до гадливости, они ненавистны мне, как преемник Менгу-Тимура (никак не могу запомнить кличку этого карлика); их водочные солдатские голоса кроют меня скарлатинной сыпью, отчего я не могу показаться на улице; их чёрная сперма течёт по моему кипенному бальному платью, в котором они изволят меня слышать, и нет таких сил, которые могут его отстирать, и я с омерзением выбрасываю его, надев единойжды, забывая помойки, а потом адски ржу, наблюдая бабские стаи, щеголяющие в «Светофоре» в моих нарядах.

Как вы не давитесь этим чёрным ипритом, милые мои дуры?!

«В чём ты сегодня, сладкая?» — «В обтруханных галифе, елейный». — «А что над галифе, медовая?» — «Сейчас посмотрю. Да ничего нет: я же, приторный, сижу на горшке...» — «Продолжай, продолжай!» — «...и делаю пи-пи». — «В галифе, моя карамельная?» — «Да с лампасами, мой углеводик. В присланных тобою, обергруппенфюрерских». — «И они сейчас — что?» — спрашивает эта сволочь прямо с поля боя. — «А они прямо сейчас темнеют от моей влаги». — «А что ты делаешь с моей чёрной влагой, конфетка?»

О господи... Я отчётливо вижу её в гробу на твоём мучном быдло-лице. Только не знаю, как лучше: размазанной или блескучими каплями.

Прости мя, господи. Научи мя, господи, как поступить с его семенем на его мёртвом бубне.

И если на выходе из-за трибуны после спича перед карачибеками в штанах его было мокро, то это тоже я: любые его (их) речи так похожи на словесные фрикции, что он (они) постоянно путали их с моей чувственной перепиской, попутно, получив реактивное половое

удовлетворение, неся окоlesiцу про эгалите и фратерните. Конечно, спохватывались — но после степенной ханской паузы на неделю, декаду, месяц. Равенство и братство, длящиеся дольше, сначала мутят холопский разум, а потом убивают. Всех подряд, без разбору...

Я не буду молчать, я съем вас поедом. У такого мальчишечки не может быть такого токаря.

Мальчишечке — привет.

Не ваша из Третьезнска, отбывающая в Энск-4. (Сию приписку «о себе» попросила бросить в ящик — или снести на почту, если она станет на пути, — других понаехавших. Оказывается, я не одна в своём прорыве. Надеюсь, бросили или снесли.)

И поцеловал ея

Здравствуете, подружки? (На кого ж я вас, преувеличенных коров, оставила.)

В Энске-3 в город не пошла. В ожидании следующего желдорброска играла с собой в «Дурака», расстелив на полустанке верблюжье одеяльце, на которое, изображая пикник, возложила последнее яблоко, термос, полуполный воды, добытой из колодца во Второзэнске, истрёпанный бутерброд с яйцом, который путешествует со мной аж из пункта отправки, и залётный листок машинописи о вкусном и здоровом обжорстве после коитуса (сочиняла для клиента по переписке, который читал меня на голодный желудок), в который был завёрнут прут арматуры с рукояткой из синей изоленты (спасибо, девочки, но пока не пригодился, хотя проломить голову хочется многим). Одета была легко: в хиджабе и раздельном купальнике. Природы вокруг — равнодушное море: трава ростом с академическое весло лезет на полустанок и под платья; зайцы, отняв у похоронного оркестра барабан и кастаньеты, сидят на корточках на пригорках и лабают сегидилью, которой

их выгнали пленные испанцы, защищавшие Воронеж от пушечного мяса, а теперь строящие тут ватерклозеты; осатаневшие пчёлы собирают пыльцу с роз на купальнике. Походкой флотского старшины подгрёб мент и спросил: «Не на деньги? На деньги нельзя. Но если отбояритесь от меня штрафом — можно. Составить компанию?» Дала ему на самогон, спросив здешние цены. (Ударьте себя по ляжкам, девки: самогон в третьем Энске варят из борщевика *Heracleum sosnowskyi*.) Отчаявшись быть полезным, предложил снести меня с платформы на закорках, ибо «лестничку сломали в том годе, когда Мамай набегал в предпоследний раз». Нет-нет, спасибо. Уходя с сожалением, наказал не спать с пленными, если рискну просочиться в город, а если захочется с ними пощебетать — то только о (посмотрел в бумажку) Сервантесе и через переводчика, которого ещё не нашли. «Они любят кушать. Возьмите с собой фунтик конских ушей. Старушки продают, а я отвожу глаза». И показал, как он это делает, — и наконец рассмешил (и моя правая, шарившая в сумке, отпустила арматуру), и наконец заслужил комплимент, потому что, став косыми, его глаза стали человеческими. «Вам написать из Энска-4? — спросила я его. — В благодарность за всё». Пожал плечами, дал петуха: «Попробуйте», потянулся губами к моей машущей руке — и нежно поцеловал ея, готовую вцепиться ему в глотку, если в чмокание послышится хруст моих губчатых костей.

Не рискнула выйти в город — и зря: вернувшиеся рассказали...

Но прежде о вернувшихся. Девки, я смотрела на них три перегона и не понимала, откуда я их знаю. А я их и не знаю, просто изображающие дачников, рыбаков и туристов люди, как я теперь догадалась, из пункта А, выходя на очередном полустанке, разбредаются, чтобы не маячить, где-то отсиживаются — и набегают на платформу за пять минут до отправления электрички в новый Энск. Спрятав на теле ледорубы, но достав альпенштоки, набегают в новых шляпах и косынках, в очках и с усами, поменявшись друг с дружкой разноцветными рюкзаками и надувными лодками, анораками и ватниками. В отличие от — они

шифруются! Они осторожные, как шёпот: «Он умирает, но вы не показывайте виду, улыбайтесь». Они знаете как зыркают и зыкают, если я засматриваюсь на них в поездке: шепчут одному из своих, что вон та пялится, и он врезается в меня штыковым взглядом, цокая языком так, будто сгоняет с лица трупную муху, а потом подходит и любезно предлагает преломить с ними хлеб и воспеть шестиструнную песнь «А зима будет большая». Отказаться нельзя, и ты узнаёшь наш, из пункта А, круглый хлеб, а слова «вот, гляди-ка, за рекой / осень тихо умирает» прошибают слезу... Девки, они тоже намылились, но поумному. А вы, дурочки, плакали, что я одна такая...

Я продолжила резаться в «Дурака», но как-то нескладно, то и дело становясь дурочкой. И это подкидной. А что было бы, если б я играла в «Д. с погонами» да с джокером...

Вернувшиеся рассказали, что шли через строй: с одной стороны узкой Центральной ул. им всучивали жареную картошку «с луком», «на сале», «с грибочками, девочки», «с мясом, пацаны» и «с яйцом, барышня» большими шкворчащими сковородками, а с другой — предлагали сломать ноги палкой, инкрустированной гайками со сценами из «Божественной комедии», или ординарным ломом, если они не купят ни одной сковородки ни у одного продавца. Продавцы, чуть не плача, шептали покупателям, что бандитов не звали, а бандиты, чуть не плача, шептали покупателям, что без покупки не уйдёт ни один. Но картошка — меня не то что угостили, мне тоже всучили, потому что картошки было хоть тресни, — была отменной. Вкусила каждого вида, барышни, и была очарована. Почему бы просто не сказать, что она архангельски лакомая? зачем стращать Гавриилом, предлагая амброзию? Странные соловьи-разбойники...

За центральной снедью ультимативно, не обойдёшь, следовали центральные карусели: на головокружительной скорости и на плечах у Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого и отчего-то Бальмонта. Пушкиных, впрочем, было два: второй стоял на карачках и был двужильным (двугорбым?), неся сразу двоих.

Ах! Зря, я не пошла. Тем более что потом надо было посмотреть с лавочки без спинки кино «Чапаев», которое показывали из кинопередвижки, швырявшей луч в четыре сшитые вместе простыни. Лежащих под лавочкой не было: за этим следили Анка и Петька, которые поднимали уставших, отряхивали их и наливали им воодушевляющего пойла из борщевика. О котором я вам уже писала. А для запаха чуть ли не между зрительских лавочек в большом котле с живой водой варили лежалый свиной муляж белогвардейца.

Встреча гостей города заканчивалась подписью в обязательстве «Не трогать наших девок». Дам от автографа не освобождали.

Вот же радушный искроментный Энск-3. Никогда больше. Если только не в кандалах и с сопровождающими волкодавами на обратном пешем пути в пункт А.

Девки, вы сумеете отбить меня у этих больших собачек?

Перинеум

Сэр! Я обещала вам ещё одно — и последнее — письмо о нашей (гипотетической) половой связи. Получите и не забудьте расхохотаться, узнав, что я отдавалась делу в поте лица, а вы недоплачивали. Что же, желаю вам попробовать «Авито».

Трогать. Он бросил книжку оземь, потом толкнул её ногой в ворота дальнего угла и приказал собаке отнять у стены застрявший в ней томик. Собаке досталось, но она смогла: положила перед ним покусанные стихи со своей фотографией на обложке и посмотрела ему в глаза. Он цыкнул, чтобы не пялилась, а сама: «Раскрой где-нибудь, а уж в слово-то мой слепой палец попадёт». Было исполнено, палец угодил в «трогать» («...ибо трудно трогать до румян, / если в вене кубик, медсестёр»). «Давай, сестричка?» — «Давай, ангелочек».

Он улетал в один конец в компании с марсоходом, который мог всё, но не это. А она улетала отсюда с попутным ветром, который, кажется, упразднили, а если это только кажется, то послезавтра ветер непременно подует, а нынче ожидание скрасит его дурацкое предполётное «и натрогаюсь же я сегодня перед завтра». Он — её, она — его, глагол «трогать»: «То есть только притрагиваемся?» — «Ты же сам выбрал это слово». — «А где?» — «Да везде». — «И тут?» — «Особенно в кино». И они вышли в предпоследний летний день конченного города. Завтра пропадёт он, послезавтра — она, и город — всё, без них он сможет только смердеть.

«Ты знаешь, где у нас *перинеум*?» — прошептала она. Завтрашний марсианин не знал. И она показала, попросив его ладонь: четыре пальца, кроме большого, большому хода не было, легли на её... перинеум. Прикоснулись и остались там.

Это было... приключение: они ехали в метро не сельдями, но почти впритирку; она сидела, он стоял перед ней; её грудь откинулась, а живот, напротив, подался вперёд, чтобы сложенные пальцы спутника могли попасть в узкое пространство едва разведённых в коленках ног, прикрыв и без того прикрытый платьем «передок» и протиснувшись вглубь, к перешейку, соединяющему два человеческих отверстия.

«Это и есть он?» Она кивнула. «Сил нет убрать руку, — сказал он. — Не приклеилась ли она? Как ты это делаешь?» — «Никак. Просто ты выбрал одно хорошее слово, а я вспомнила другое». — «Два слова понравились друг другу и сцепились. И не собираются...» — «Не собираются?» — «Нисколько. Зачем им расцепляться, если им хорошо?» — «И мы с тобой не станем ничего делать?» — «А что тут можно сделать?» — «Верно. Ничегошеньки».

Они проехали, наверное, три тысячи остановок, когда она сказала: «Узнав слово, я подумала о глупой помощи глупого клея. Я сказала себе, что мы обязательно зайдём по дороге в канцелярский магазин, чтобы купить лёгкий безвредный школьный клей, который намертво прихватит твою ладонь на том моём левом полушарии, что начинается внизу, там,

где кончается спина, а моя рука вдруг взбрыкнёт и захочет расстегнуть эти маленькие пуговички на твоём животе, но вляпается в... и...» — «Думаешь, это отменит Марс? Прямо сейчас я не был бы против. Ну его. У марсохода нет ни одной детали, с которой я хотел бы, притронувшись к ней, вот так сцепиться». — «А марсианки?» — «По самым последним данным телескопа “Хаббл”, у них нет перинеума». — «Не представляю, как они без него обходятся...» И они помолчали каждый о своём, и она продолжила: «...и мы, нагулявшись вот так, ляжем в моей ванне, чтобы наши руки отошли и были вольны творить то, что лишь частично описывается твоим таким удачным словом». И он сказал: «Да, клей — это наивно».

Потом они вышли своей новой странной походкой и повадкой на улицу и проехали сотни три остановок на любимом трамвае, прежде чем он спросил: «Думаешь, уже пора что-то делать?» — «Что пора делать?» — «Попросить уличного художника, чтобы он запечатлел наше счастье и счастье наших телесных частей, перинеума и ладони. Потому что завтра... нет, уже сегодня, мне улетать, а я не поднимусь в кабину без такого рисунка. Я, как будто мне три года, устрою истерику. Я чувствую это». И она грустно сказала: «Ну, если ты так чувствуешь». И они где-то вышли, чтобы отыскать художника. И найденный тут же художник спросил: «Чем мне написать тепло и красоту вашего соединения, дорогие? Ну не маслом же». И они ответили хором: «Только цветными карандашами и мелками!» И художник, переходя с одного ватманского листа на другой, изукрасил их счастьем и счастьем их телесных элементов целую десть бумаги, за что стал воистину марсианским и космическим.

А назавтра было так ветрено, что её унесло ОТСЮДА вместе с сараюшкой, в которой она жила и чрез которую протянулась самая высокая яблоня её сада.

И больше её никто не видел.

Должно быть, оттого, что это она больше не хотела никого видеть.

Засим, сэр, прощайте.

Ваша, мать вашу, типичная Анхела Анаис Хуана Антолина Роса Эдельмира Нин-и-Кульмель.

Местная

В «Справочнике убегающего» о таких вещах говорится сухо.

В главе «Помехи» читаем: «Вы бежите один, только один. Все, кого вы зачем-то приручите в дороге (не смейте; напишите на бумажке «моё человеколюбие», порвите её на сто кусочков [кусочков должно быть ровно сто] и выбросьте в окно вагончика, и пусть он катится дальше без этой подлости которая обязательно подставит вам подножку), — преграда и обуза. Люди Полюбившиеся однажды утром на очередной остановке вдруг скажут: «И зачем нам это, дорогая? Не лучше ли нам остаться *тут* и пустить *тут* корни? Я уже узнал: *тут* тысяча заводов, которым нужны фрезеровщики, а я фрезеровщик шестого разряда; *тут* живёт тысяча жителей, которые никогда не слышали по телефону твоего отчаянного голоса, способного заставить их раздеться прямо в трамвае, хотя им оставалось проехать всего-то три остановки...» Глава «Менты» учит нас плевать в лицо даже самым, казалось бы, милым ментам: плевать сразу же, до того, как они замахнутся на вас палкой или потянутся за пистолетом: «Менты — всегда менты. Их для того и рекрутируют, шерстя ПНИ и клубы оголтелых футбольных болельщиков с кругозором удара в пах вместо удара по мячу, чтобы они рекрутировали таких же, как они. А похоть к лицам противоположного пола проходит мгновенно, потому что вам уже тридцать три (не так ли?), а следом за вами бежит 25-летняя знаете с какими ногами, ибо менты, направляясь к УО или обожателям динами, сначала смотрят на ноги, чтобы знать, можно ли их сломать с первого удара. Их ум ушел и ветрен». А вот строчки из «вопросов-и-ответов, касающихся почтальонов»: «А эти так

и вовсе: надев на вас венки из полевых цветов, катают до упаду на велосипеде, причём — и в этом главная хитрость — не на багажнике, а на раме (!), а потом вы вдруг беременная-беременная, а таких ОТСЮДА не выпускают, потому что они (вы, залетевшая читающая) *стратегический запас*. Нет, конечно, один раз прокатиться можно — но только до ментовки, чтобы написать на почтальона заявление: мол, обещал прокатить, а сам по дороге к вам, дорогие менты, заехал на ваш же на задний двор и приставал на глазах ваших оперов и сексотов, которые курили на крыльце, непринуждённо шутя о том, что лицезреют...»

Сухо, но доходчиво, не правда ли?

Здравствуй, сволочь Мишенька, от которого... ну, не только от тебя... я дала дёру. Не мог бы ты выслать мне резиновые сапоги? Ты же не выбросил мои резиновые сапоги с каблучками, которые достались мне от мамы и больше похожи на боты? Их же не носит эта твоя?.. Как её зовут-то?.. Мой адрес: Энсск-3 до востребования. Жду, они очень мне нужны.

Мишенька, у меня две сногшибательные новости: оказывается, у меня дар; оказывается, из Энска-3 просто так не уехать. Но — по порядку.

Любой, на кого я пристально смотрю минут семь по дороге из пункта А, даёт сердечную течь: двое написали, что под моим влиянием передумали оставаться и собрались ОТСЮДА, а третий, здешний, сказал, называя меня «княжной», что так увлечён мною, что кровь из зубов выведет меня из города и посадит на электричку (и даже, быть может, поедет вместе со мной в светлую даль), но сначала мне надо оплатить штраф за пикник в вызывающем купальнике и с азартными играми в неположенном месте, для чего, поскольку у него денег нет абсолютно, а так бы он помог ими, мне надо поработать на одном местном предприятии, где у него знакомые, а значит меня пристроят к чему-нибудь не бей лежачего. По его словам, платят копейки, но скопить удастся, после чего подключится он, потому что одной мне из города не выбратся: «Всюду казаки, которые плюют на нас с высоты своего конского положения, а вас втаптывают. Но я знаю таких, у которых

нагайки только для вида». Оцени, Мишенька, как он представляет меня своим однокорытникам: «моя сучка». Вероятно, это что-то вроде старорежимного «позвольте познакомить вас, господа, с моей желанной и ненаглядной сущей дульцинеей, которую прошу обожать и жаловать, а ежели кто из вас бросит на нея безразличный взгляд, то я немедленно к вашим услугам, но учтите, что пистолеты лучше не выбирать, ибо я мастер спорта по стрельбе по бегущему кабану». Затем он, выведший меня погулять с ним под ручку, целует меня в бедро, для чего просит задрать платье на нужную высоту. «Его сучка» подчиняется, потому что, Мишенька, она теперь временно местная и будет мантулить в колхозе, а колхоз зовут доходчиво: «Лопата», и выращивают в нём два ясных изысканных продукта: лошадей, которые идут на колбасу, и брюкву, которая вся уходит на корм коняшкам, а все лошадёнки в виде колбасы уходят на стол председателя «Лопаты», отпрыски которого пишут стихи, но они у них пока не получаются, поэтому я, отпахав в «Лопате», буду ужинать у его благородия, после того как евонные дитёнки скажут, что им нравится их новый стишок, который я наскоро перепишу.

Вот почему побеждённой я себя пока не чувствую, хотя и вынуждена перед тобой унижаться: стишки. Ну куда без них, милый... Они одни мне опора и бла-бла.

То есть не выпустили меня пока из Третьеэзнска, и это вторая закачаешься-новость. И не только меня, конечно, но половину нашей электрички: ту, что не дала на лапу, а если и давала, то делала это кичливо: кадык и коленные чашечки под удар кулаком и пыром сама не подставляла. Этим будет весело: чтобы выплатить «штраф», им придётся бесплатно таскать тяжеленный круглый (специально для этого высеченный) камень на местную стратегическую высоту, с которой, говорят, виден Энск-4, чтобы сбросить его вниз, чтобы он, скатившись с горы, носился по улице города, вселяя в жителей смирение.

Недруг мой Мишенька, не прошу — велю, сидючи у разбитого корыта: положи вместе с резиновыми сапогами томик Серёньки Е., с которого я буду брать пример, кропая

четверостишия на ужин. Сей Серёнька — это всё, что они «уважают в плане Пегаса». Гм.

Сапоги же мне нужны, чтобы ухаживать за навозом и брюквой. Без них я а) утону и б) утонув, не дам нормы.

Второй мой хахаль, некто почтальон из Энска-2, чей сеновал опечалил меня (почему я не спала на сене прежде?!), как странгуляционная полоска на шее Дездемоны — одного мавра, прислал мне телеграмму, в которой, кроме уверений в совершеннейшем ко мне почтении и желании сопроводить меня ОТСЮДА и, если я не буду против, следовать за мной ТАМ, сообщает, что в час икс отправит в Энск-3 «правительственную телеграмму», после которой меня не просто отпустят, но спешно вывезут и, осыпав хлоркой, словно снегом, бросят где-нибудь в голом поле на территории другой волости. Из слова «проказница», с которым он ко мне обратился («заслуживающая наказания проказница»), я поняла, что речь идёт о лепре. Остроумный. Изобретательный. Умеет ездить на велосипеде. На сиденье велика есть ножевая надпись «Аня». Мне кажется, я к ней ревную... А «час икс» — это, вероятно, пора, когда я надоем ухажёру по кличке мент и он начнёт меня бить. Не представляю, как я извещу об этом почтальона... Может быть, телеграммой? «Дорогой. Сегодня (в) довершение (к) левой он сломал мне правую руку. Диктую это (на) почте, пообещав любезной даме (с) ужасным почерком вечером прополоть её огород. Она записывает (и) плачет горячими слезами. Мол, мог (бы) оставить хоть одну руку. Какой не очень хороший человек».

Ну а в Энске я проездом взглядывалась в одного токаря, который вдруг написал почерком Бориса Леонидовича, что, дескать, готов и мечтает жениться на мне в (Энске-3), чтобы в увечьях и тощице, пока очередная распря не разлучит нас бесповоротно, добраться со мной хотя бы до (Энска-4), потому что к молодожёнам, может статься, предписано проявлять выборочную благосклонность, при условии, что я «вполне возможно, могла бы уже понести» и мы с ним просили бы отпустить нас восвояси не просто так и за красивые глаза («а у вас они бесподобные, не представляю, как можно отказать, глядя в такие надсоновские очи»), но

со справкой. «Как думаете, это сработает?» — спрашивает он. Какой же он хороший.

А также об Энске-3, коль скоро я теперь местная.

«Воздушные шары»: выйдя в город, когда угомонились продавцы жареной картошки, я, выпучив свои надсоновские зенки, увидела эту вывеску и даже кого-то оттолкнула, чтобы попасть внутрь. «Неужели можно?!» — прокричала я им с порога дурным счастливым гласом. «Можно, — невозмутимо ответили они, — но вам ведь не над городом?» — «Мне ведь подальше отсюда». — «Напрасно, — вежливым шёпотом взроптали они, — ибо сбивают, сбивают ибо в одиннадцати вылетах их десяти». Они экспериментировали, они познали методом проб, они даже всплакнули: «Белку, лучшую из собак, которая к тому же могла за себя постоять, запускали десять раз, — и ни одна не вернулась. Это что значит?» — «Не нашла дорогу?» — «Потому что погибла при исполнении смертью храбрых». — «Примите мои соболезнования». И я тоже всплакнула по не единожды убиенной Стрелке. Успокаивая меня, их главный, похожий на ольвиопольского гусара Друцкого-Соколинского, предложил покататься: «Причём бесплатно, мадемуазель». А я не оценила: «Я на электричке люблю». И они хором пошутили: «Это в следующей избушке». И сделали каблуками.

«Пригородная электричка»: нет, не пошутили: ровно это было начертано газосветом на домике обок. Забегала за подробностями — и разлимонила снова: вокруг Третьеэнска с одной улицей, зато Центральной, проложена ж. д., по которой вертится электровоз, таскающий за собой всякое колёсное: дрезины, открытые платформы, «пульманá», СВ, вагонзаки, цистерну из-под агдама (в которой показывают кино «Эммануэль!»), товарные вагоны из-под угля и пожилых коров, везомых на бойню (в которых подают лобстеров!)... Поездки только ночные и очень увеселительные, потому что без купленного тут же спиртного на борт не берут. Накатался — и в колхоз по имени «Лопата»...

Мишенька, мне бы сапожки резиновые, одну пару, с каблучками, ибо навоз и бруква, а? Мишенька, тварь ты

божья позорная, мы же с тобой где только *это* не делали: помнишь, что творилось в Серпуховском краеведческом музее, когда мы спустились в его туалет, чтобы уединиться? Они хлопали нам. Они смотрели на нас с упоением. Их завидки взяли за слёзные желёзки. А ты, сволочной Мишенька, так и не купил их магнитик и после этой поездки пропал с глаз моих. Да, я так захотела, но ты мог бы побороться за место под моим солнцем, не находишь?

Сапоги. Не забудь. Немедленно. Не благодарю. Я шагаю ОТСЮДА, и эти сапоги — мои скороходы.

(Будь ты проклят, если в один из ботишков не положишь карточку из той поездки. Хочу показать её менту, чтобы мусолил своей пивной слюной не бедро, а.)

Суженая

Здравствуйте, ошестиненная ненаглядная, кормящаяся токарями с вывихом совести.

Спасибо, что вправили: уволившись, я продал всё вплоть до армейской кровати (на которой до вас видел надёжные конструкционные сны, а после вас как отрезало), чтобы, последовав за вами, протянуть хотя бы на бутербродах до той самой реки, которая впадает в Адриатическое море. И пересечь её. Не знаю, как (мы что-нибудь придумаем: в конце концов, можно угнать противолодочный корабль «Сторожевой» или истребитель-перехватчик Су-9), но не пересечь её нельзя.

В каком из Энсков на вашем пути ОТСЮДА это письмо (отправлю его по нескольким адресам) нагонит вас? Черкните, пожалуйста, и мы с мальчишкой, не докучая, возникнем там и издалека сделаем вам ручкой, и последуем за вами шаг в шаг. Но прежде я хотел бы сочетаться с вами законным браком, чтобы вы смогли понести, а понеся, получить справку и следовать своей цели легко и свободно. Как думаете, это работает? (Слухи о том, что

вынашивающие женщины — стратегический запас родины, хочется верить, или глупы, или раздуты. С такой ксивой да не добраться хотя бы до следующего Энска [в котором всегда можно завести нового ребёнка, чтобы продвинуться дальше]! Правда же?)

Кольца для суженой из отменной стали сразу нескольких размеров — выточил, отполировал, одни хромировал, другие посеребрил (расплавив старинную монету) и уложил каждое в свою походную коробочку из-под монпансье. Миленькие, как сказал мальчишечка, и сладко пахнут: «В голод их можно будет лизать». Он, к слову, уже называет вас мамой. Вероятно, знает то, о чём я ещё даже не догадываюсь.

Вычитанное у вас между строк напутствие не точить (снаряды), но пускать под откос поезда (со снарядами), решил не исполнять. Вы знаете, сколько семейных гражданских отцов и матерей сопровождает такой состав? Ваши впечатляюще переродившиеся гули добивают подранков, не спрашивая, за кого они: левый глаз ещё видит и шевелится — следовательно, деликатесен и будет выклеван первым. Голодные голубиные детки обожают отрыгнутые вкусоности.

Теперь телефона нет даже у соседей (ходил к ним с пачкой соли, чтобы сделать звонок: набрать случайный номер и говорить, говорить, если отвечал красивый девичий голос; поговорив, верил в завтра; когда вера истаивала, опять брал «Экстру» и... А сахар они отчего-то не любили), потому что и соседей никаких нет, — какой день сидим с мальчишечкой на двух чемоданах в коридоре у друга — ждём вашего письма, чтобы сорваться в нужный Энск. А так бы... что я сделал в первую очередь? В кои-то веки набрал осмысленный номер и попросил вас... рассказать о себе. Но не так, как вы делали это прежде, когда говорили бог знает с кем, — а проникновеннее, что ли. «Алё, это ваш шапочный знакомый... токарь, припоминаете?» — «У меня много знакомых токарей, но я не выделяю их: перед каждым раздеваюсь по телефону одинаково». — «Это хорошо, это профессионально, но, знаете ли, этот токарь, кажется, неровно к вам дышит...» — «Щепетильная ситуация». — «Вот и я о том же: не могли

бы вы, прежде чем сбросить с себя пальто (мне кажется, действие должно начинаться с верхней одежды)... сначала разобраться в себе... Стоит ли снимать пальто и валенки перед человеком, который вам равнодушен?» — «Вы осуждаете то, чем я занимаюсь, токарь?» — «Нет, что вы. Я говорю лишь об искренности и, в конечном счёте, об отдаче: если, пусть только на словах, раздеваться перед первым встречным, разве это не то же, что раздеваться перед врачом или в бане? Можно ли, не став манекеном, снимать шерстяные носки и всё остальное перед кем бы то ни было, если внутри вас пустота и абсолютный нуль? Кто бы то ни был — разве он не ощутит этот дикий холод? разве ваша пустота не выест его до отпечатков пальцев на разбитом окне?» — «Я... я же играю... Мне кажется, я выдерживаю стандарты... Конечно, бывают неудачные выступления...» — «Что такое “неудачное выступление”, если вы снимаете с себя всё (и имитируете *это*), находясь за толстым камнепробиваемым стеклом? Когда в отверстие для монеток суют не деньги, но шайбы из-под гаек? А если “неудача” происходит по телефону? Вас бранят и просят вернуть шайбы из-под гаек? Чем неудача отличается от стандарта? Что есть “стандарт” при “игре в страсть” по телефону? Сказать семь раз “ах” до и семь раз в квадрате после, сняв одежду в определённом порядке? Разнятся ли неудача и стандарт при “выступлении” перед звонком-из-ПНИ, звонком-из-окопа, звонком-из-ментовки, звонком из домашнего туалета, когда мамы нет дома? Есть ли предел у неприхотливости звонящего или вам важен любой звонок? Шепчут ли вам на ухо самые чёрные слова, которые кричат от лютого детского страха, вылезая из окопа и пластаясь по пахучим убитым?.. Разве это приносит вам радость?» — «Разве манекен испытывает радость? Это приносит мне деньги». — «Зачем манекену деньги?..»

Новый стишок? Конечно. Мальчишечка сочинил нечто невообразимое, и я уже устал смотреть на него лошадьё, сломавшей ногу: «Ты отправил? ты оправил его? ей понравилось?..» Вот он какой (неужели с намёком? но откуда шкет знает...):

Мяч порвался, с высоты / птичье-перелётной / таней
сроненный в плоды / первой производной / от аборта
по шунты / в сердце тани боли: / таню брали из орды /
всякий, все, поколе / тая чалилась в орде / с сапиенс-
колена / по эпохи в нагоде / рядом, без подмены / с
всяким, всеми, кто хотел, — / предопределение / тани,
танин передел / в роты, флóты, звенья / и, конечно, в
конный строй. / Из навоза, палок / танин новый с кобурой,
/ но не без фиалок, / вырожденец-и-гусар / с головой и
сердцем / сочинил небесный шар, / чтобы к своеверцам
/ над уплыть «и с высоты / сможешь сбросить мячик; /
тая, тая, мне кранты / сечи средь и спячек; / тая, тая,
улетим; / улетим же, тая». / Искусил! За пару зим / там,
где только сани, / да и тем не в горизонт / бег до окоёма,
/ первый ласточка-и-зонд / допорхал до съёма / с ЛЭП, но
там, где нет орды. / Руки Тани зябли, — / мяч и выпал не
в пруды — / на штыки и сабли. / Это было в первый год /
не полёта — сказки. / Убыль гонит Таню в пот: / «Лучше
бы фугаски...»

Неужели шкет так чувствует? Я ведь ничего ему не
рассказываю... И без меня видит, слышит, понимает?... Не
понимаю... Голова у него — это да, но сердце, сердце-то
прямо пушкинское... Что же это получается... Оно крупней
его сенеконской головы? Мальчишечка мой...

Вы, кстати, не Таня ли?

Ответьте же. Найдитесь. Моя хорошая.

Наша

Таня, Таня, увы, Таня, конечно, чёрт возьми, Таня. И
даже если не Таня, то, разумеется, Таня, которая нашлась.

Здравствуйте, токарь одного мелкого прозорливца,
которому я не представлялась. Вы ещё помните меня?
Это Таня, падшая женщина по телефону, пишущая из

города-крепости Энс-3. Дуйте сюда, в Третьезнск, если не передумали.

Вам мальчика или девочку? (Зря вы продали армейскую кровать. Но... найдём на чём.) Пелёнки будете менять? а тетёшкать по ночам, когда я, сломавшись, вдруг усну? А Барто вашего я усыновлю? (Такая ответственность; что я дам ему, кроме благостной Токмаковой: «Купите нашу девочку, собака на посту, — / и, ковыряя пальцами в виске, носу, заду, / мы, улыбаясь паточно, проследуем, ввиду / покупки нашей девочки, живыми, но в поту, / за тем что с жидкой паникой и долгом нарядом / взрывчаткой оверблужены по выю и браду, / на мост не над чужбиною над гоголем в пруду, / с тропининскими видами на Пушкина в быту, / с куинджи-любованием кромешной тьмой и в тьму / с таким интимным в д у м ы в а н ь е м, что не вмоготу. // Продайте нашу девочку, собака постовой, — / тьма раздалась — и кúбовой предстала синевою?») Папа, приструните мальчика, а то не усыновлю.

Конечно, в орде, милый мальчик, но чтобы «брал всякий»?! Впрочем, если честно, то, конечно, всякий.

Но откуда ты... вы узнали, что тут есть некое ООО «Воздушные шары», которое?..

Наконец, вот и решение, подсказанное мелким Пушкиным: фугаски...

Как весело жить, когда, увязнув в Энске-3, переписываешься с Сергеем Львовичем.

Вы, кстати, не Сергей ли Львович?

Но — поспешите. Тут знаете, сколько ухажёров, С. ли Л.! Мент (который меня повязал) — раз; испанские пленные — два (они об этом ещё не знают, но так хочется говорить с ними по телефону; так и вижу, как они стоят в очереди, чтобы попасть в единственную будку и «перепихнуться» с моими палящими постановываньями из колхозной конторы, ушедшей на обед; если что, постановыванья интернациональны, С. Л., а будка обклеена моей зажигательной шэронстоуновской рекламой, чтобы у де сааведр не было никаких сомнений в моих намерениях). Гусар этот из «Воздушных шаров» (не зря же он появился в элегии вашего отпрыска; значит ещё схватит за заднее,

значит ещё опойт самогонкой и, засунув в корзину, прокатит по-над городом, шепча на ухо про разницу температур за бортом и в его чреслах) — три. Чтобы осечь этот список, хожу, не поднимая на казаков глаз (они у меня какие-то особенные: влюбляют), поэтому пока они только топчут, в кусты на тащат. «Каждую не перетаскаешь», — хохочут они.

Сергей Львович! Знайте, я уж не та: повязанная за антиобщественное, я гребу конский навоз, а потом волоку его на брюквенные поля. Это легко и даже закаляет, это терпимо, если бы, отмантулив, можно было на боковую. А на неё нельзя, потому что у председателя моего колхоза есть болеющие зелёными соплями дети и он, высокообразованная падла, видит их пиитами. Вчера натаскивала их на одну сергушину разухабщину: «Теперь бы с красивой солдаткой / Завесть хорошо роман», и соплюны — хорошо, что их трое, а не пятеро, — перебивая друг дружку, рассказали, от кого они. От кого угодно, но не от солдатки, вы правы, С. Л. «И вы, мадам, как только начнёте мыться, родите нам неведому зверушку. Вы уж не мойтесь. Хватит с нас его баб...» Пообещала преподавать им только унавоженной. Нет, дети хорошие, дети всегда такие, вплоть до распрекрасности, но репертуар — ужасен...

...И это, пока мент гуляет со мной по Центральной, да в дембельских аксельбантах, наверное, исправимо: упрошу его устроить меня в надомницы. Писать за деньги тут некому, а вот звонить... Говорят, в «пригородной электричке» есть шест, а вокруг шеста всегда крутятся самцы с ушами, в которые я буду лить угар. Если бы не «уроки стихосложения», разве б я желала чего-то ещё, кроме навоза и брюквы? Никогда. Мне навоз нравится. Нравится мне навоз. А я ему?

Научу их вот этому («Пришил одну затем что выпить нет / давать давала а налить так нету / не налила покоцана котлет / пожрал спирт отыскал попил котлету / последнюю оставил малышу / у ней малыш молчун и пеленашка / домой пришёл забрали отсижу / вернусь куплю сиротке чебурашку / на палочке сосальный леденец / сусальный вкусный выпадают зубы. / А тут война какая-то отец / не

сука а небесный сука люблю / и дорого прикинув приказал / меня и пацанов из чёрной зоны / препроводить мочить за выбор сал / и родину в опасности бессонно / мочу нас мочат отслужу вернусь. / А тут меня покоцав самоваром / ни рук ни ног заделали на Русь / отец не сука а небесный с налом / простив препроводил кантуй домой / спасибо за конечности дай в губы / тебя расцеловать. А тут трубой / за цирковым коленцем с плоской супа / меня забил сынок одной и суп / дожав нашёл заначку и собаке / оставил на супы косую труп / мой по мешкам бы стоило а в драке / с ментами не хвалиться что трубой / душителя забил а вас подавно / забрали посидит. А тут и в бой / война тут не на жизнь и неустанна.»), и мне непременно откажут в преподавании.

Сергей Львович...не переживайте :-), вы не будете сидеть на моей цыплячьей шее, пока я, беременная, вычищаю из-под конских стад. Мой мент, который заглядывается на одну молодуху из моей электрички (не отравить ли, ха-ха, её...), заметённую за то, что сошла в Энск-3 без грима и костылей и, сойдя и испробовав преподнесённый местными хлеб-соль, не похвалила его, договорится (не дам бедра — и договорится) в колхозе, чтобы вы ковали лошадей, идущих на колбасу (зачем их подковывать?). Справитесь же с коняшками? Если же он бросит меня к вашему прибытию, за взятку (пара секс-звонков, и готово) запишем вас в испанские пленные. Их тут любят. Они строят в Третьеэнске ватерклозеты, и местная пресса называет это «цивилизационным прорывом», а вечерами возле оврага устраивают бои быков на стрелке на финских ножах (павшие бывают, но на то и овраг подле). Не бойтесь, испанский необязателен: «испанские пленные» — это наши дезертиры, уклонисты, дебилы и дворники с не нашими раскосыми и жадными очами; тех, что не хотят на Воронежский фронт, ведут к оврагу убивать, а желающих — записывают в андалузцев, временно оккупировавших воронежчину. Это я к тому, что хватит с вас воронежского с его экспрессивным фрикативным «г». Справитесь же с ватерклозетом?

А то, что с пленными нельзя спать, так это им, местным. Мне ли, конской скотнице, этого не знать... Но смогу ли я зачать мальчика, который будет не хуже вашего Александра Сергеевича? Не уверена. (С кем только не спала по телефону, — и даже ни одного выкидыша.)

Энск-3 (далее, вероятно, везде). Запомнили?

Не уроните (решимость), не провороньте (остановку).

Наша Таня.

Любимая

ЭТО МОЯ ВТОРАЯ ТЕЛЕГРАММА ТЕБЕ ЗПТ ЛЮБИМАЯ ТЧК

ПЕРВУЮ ТЫ НЕ ОТВЕТИЛА ТЧК ПЕРВОЙ Я СООБЩАЛ ВОЗМОЖНОМ ОБНАРУЖЕНИИ ТЕБЯ ПРОКАЗЫ ЗПТ ЧТО ПОЗВОЛИЛО БЫ ЭКСТРАДИРОВАТЬ ТЕБЯ ПРЕДЕЛЫ ЭНСКА-3 ТЧК ТЕПЕРЬ ЗПТ ЕСЛИ НЕ ОТОРВЁТ ПРАВУЮ РУКУ ЗПТ БУДУ ТОЛЬКО ПИСАТЬ ТЧК Я ДАЖЕ НЕ ПОМНЮ ЗПТ КАКОЙ МЕНЯ ПОЧЕРК МНГТЧ ПЕРВЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК УЖЕ ПРОДУМЫВАЮ ТЧК ОН БУДЕТ СДЕРЖАННЫМ ЗПТ ТОМ ЗПТ КАК РАДОСТНО ОТДАТЬ ЖИЗНЬ РОДИНУ ТЧК НЕ УДИВЛЯЙСЯ ЗПТ ЛЮБИМАЯ ДВТЧ ПРИЧИНЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ НАШИХ ДОБЛЕСТНЫХ ВОИНОВ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ МЕНЯ СРОЧНО ОТПРАВИЛИ ВОРОНЕЖСКИЙ ФРОНТ ВОЕВАТЬ СТОРОНЕ ПОДОНКОВ ИСПАНЦЕВ ЗПТ ОККУПИРОВАВШИХ ПРИГОРОД ВОРОНЕЖА ТЕПЛИЧНЫЙ ТЧК НЕ ПУГАЙСЯ ЗПТ ЛЮБИМАЯ ЗПТ ВОЕВАТЬ БУДУ ВЕЛОСИПЕДИСТОМ РАЗВОЗЧИКОМ ПАЭЛЫ ТЧК ДЕЛО ЗНАКОМОЕ ЗПТ НЕ ПРОПАДУ ТЧК ПОКА НЕ ОТОРВАЛО ЛЕВУЮ РУКУ ЗПТ СМОГУ КАТАТЬ ТЕБЯ РАМЕ ВЕЛОСИПЕДА ТЧК БЕЗУМНО ХОЧЕТСЯ НАКОНЕЦ ПРОКАТИТЬ ТЕБЯ РАМЕ ВЕЛОСИПЕДА ТЧК БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ ЗПТ ХОТЯ БЫ ПРАВАЯ РУКА ОСТАНЕТСЯ ЦЕЛОЙ ХОТЯ БЫ ЛОКТЯ ЗПТ ПОЭТОМУ МЫ ТОБОЙ ЕЩЁ ПОКАТАЕМСЯ РАМЕ

ВЕЛОСИПЕДА ВСКЛ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ Я УЖЕ ПРИБЫЛ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОККУПАЦИОННОЙ ЧАСТИ ТЧК
ИСПАНЦЫ ТАКИЕ НЕГОДЯИ ЗПТ ЛЮБИМАЯ ТЧК ПОКА
НИКТО НЕ УМЕЕТ ГОТОВИТЬ НАСТОЯЩУЮ ПАЭЛЬЮ
ЗПТ Я СТРЕЛЯЮ НАШИХ БОЕВЫМИ ПАТРОНАМИ ЗПТ
ЦЕЛЯСЬ ПРЯМО ПРАВЫЙ ГЛАЗ ТЧК НЕ УЖАСАЙСЯ ЗПТ
ЛЮБИМАЯ ДВТЧ БОЕВЫЕ ПАТРОНЫ НЕОБХОДИМЫ
ЗПТ ЕСЛИ СТРЕЛЯТЬ НАШИМ ВОРОНЕЖЕ ХОЛОСТЫМИ
ПАТРОНАМИ ЗПТ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАРТИНКА БУДЕТ
ИГРУШЕЧНОЙ ЗПТ НЕУБЕДИТЕЛЬНОЙ ЗПТ ОБЪЯСНИЛИ
НАМ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ НАЧАЛЬНИКИ ТЧК ТО ЖЕ САМОЕ
КАСАЕТСЯ НАШИХ ЗПТ КОТОРЫЕ ПАЛЯТ НАС ВОРОНЕЖА
ДВТЧ ОНИ ТОЖЕ СТРЕЛЯЮТ ТОЛЬКО БОЕВЫМИ ПРЯМО
ЛОБ ЗПТ ТАКОЙ НИХ ПРИКАЗ ТЧК ВОТ ПОЧЕМУ ОБЕИХ
СТОРОН КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ЗПТ ВОТ ПОЧЕМУ
ПОХОРОНКА ТЕПЕРЬ ЛЮБИМЫЙ ЭПИСТОЛЯРНЫЙ
ЖАНР РОДИНЕ ТЧК ЛЮБИМАЯ ЗПТ НЕ НАДЕЙСЯ
СМАЙЛИК ЗПТ ТЫ ЕЁ НЕ ПОЛУЧИШЬ ВСКЛ СКОРО
НАШУ ОККУПАЦИОННУЮ ЧАСТЬ ОБЕЩАЮТ ПРИСЛАТЬ
НАСТОЯЩЕГО ПОВАРА ЗПТ ЕГО СОБИРАЮТСЯ ВЫКРАСТЬ
САМОЙ АНДАЛУЗИИ ТЧК ВОТ ЗАЖИВЁМ ВСКЛ Я БУДУ
РАЗВОЗИТЬ ГОЛОДНЫМ ЕЩЁ НЕ УБИТЫМ ВОИНАМ
ПАЭЛЬЮ ЗПТ МЕНЯ НАГРАДЯТ КРАТКОВРЕМЕННЫМ
ОТПУСКОМ РОДИНУ ТЧК ЛЮБИМАЯ ЗПТ МЕНЯ НИ ЗА
ЧТО НЕ УБЬЮТ ЗПТ РАЗВЕ ЧТО ОТСТРЕЛЯТ ЛЕВУЮ РУКУ
ТЧК ИНТЕРЕСНО ЗПТ КАКОЙ ПОЧЕРК РАЗВОЗЧИКА
ПАЭЛЬИ ЗПТ КОТОРОМУ ОТСТРЕЛИЛИ ЛЕВУЮ РУКУ
МНГТЧ КРОМЕ ТОГО ЗПТ ЛЮБИМАЯ ЗПТ ЕСЛИ СТРЕЛЯТЬ
ХОЛОСТЫМИ ЗПТ НАС ПЕРЕСТАНУТ КОРМИТЬ ЗПТ
ТОГДА МЫ ПОГИБНЕМ ГОЛОДА ТЧК ТАК НАМ СКАЗАЛИ
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ НАЧАЛЬНИКИ ЗПТ КОТОРЫЕ
ПОСТАВЛЯЮТ НАМ ПАЙКИ ТЧК ПОЭТОМУ ЗПТ ЛЮБИМАЯ
ЗПТ ПОКА НЕ ПРИСЫЛАЙ МНЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ПОСЫЛОК ТЧК ТРУСАМ ЗПТ НАПРОТИВ ЗПТ БУДУ
НЕСКАЗАННО РАД ДВТЧ ТРУСЫ ЗДЕСЬ РАСХОДЯТСЯ
СЧЁТ РАЗ ТЧК ХОДИТЬ ОБГАЖЕННЫМ НЕЛЬЗЯ ЗПТ ЭТО
КАРДИНАЛЬНО МЕНЯЕТ ТЕЛЕВИЗИОННУЮ КАРТИНКУ
ЗПТ ОБЪЯСНИЛИ НАМ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ НАЧАЛЬНИКИ
ТЧК ЛЮБИМАЯ ЗПТ ЗАСИМ ЗАКАНЧИВАЮ ЗПТ СЕЙЧАС

НАЧНЁТСЯ МОЯ СМЕНА ЗПТ КОТОРУЮ Я ОБЯЗАН
ПОДСТРЕЛИТЬ НЕ МЕНЕЕ СТА ТРИДЦАТИ СЕМИ НАШИХ
ЗПТ КОТОРЫЕ СТРЕЛЯЮТ МЕНЯ ВОРОНЕЖА ТЧК ТВОЙ
СОЛОВЕЙ ЛЕТА ПОЧТАЛЬОН ТЧК Р ТЧК S ТЧК ЖДИ МЕНЯ
ЗПТ Я ВЕРНУСЬ ТЧК ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ЖДИ ТЧК

Ненаглядная

Здравствуйте, ненаглядная.

Се токарь и его мальчишечка. «Ненаглядную» позволил себе токарь. А мальчишечка по-прежнему заговаривается во сне, и токарь, когда он шепчет: «Когда же мы встретимся с нашей новой мамой», легко и светло плачет и закрывает уши, потому что слышать это нет никаких токарных сил.

Энск-3 значит?... Но и у нас, мил-сердечный друг Танечка, катастрофические перемены: мальчишечка просит вас прислать ему «экземпляр» конского навоза, потому что его-то нам теперь и не хватает, ибо окрест только не-кетчуп из правых глазниц и кишки, если вздумаешь отступить, поэтому «навоз может всё это скрасить и скрасит, только где его взять... Вот бы мама выслала с ним если не посылку, то хотя бы бандеролечку»; ну а меня, добравшегося до Энска-2, признали годным прямо на вокзале и пересадили (меня несли, вы представляете! У меня вдруг отказали ноги, правда, отказали, и меня волокли, как труп, взяв за ватные ноги, и голова моя забубённая считала все путевые препятствия, ни одного не пропустила)... пересадили в поезд, идущий на Воронежский фронт.

«Это куда же мы намылились?» — спросил у меня патруль на Второэнском вокзале. «Это мы намылились к будущей законной жене, с которой вот-вот распишемся и заживём так счастливо, как никому из вас, собаки, никогда не зажить», — ответил я патрулю. «Это тщетные надежды, рядовой. Счастливо не получится. Счастье ещё надо

заслужить. А расписаться можно и заочно, и вот тогда, когда вас подстрелят, а вас непременно подстрелят, ваша заочная вдова хлебнёт счастья полной мерой. Знаете, какие у нас внушительные гробовые и пенсии по потере кормильца — героя родины!» — свернул дискуссию патруль, и у меня отказали ноги.

Сразу после того как у меня отказали ноги (сейчас они ничего, потихоньку пошли; спасибо, что встревожились), меня записали в снайперы, хотя я стрелял только из рогатки по бутылкам в безоблачном детстве. А мальчишечку... мальчишечку объявили сыном (стрелкового) полка: мол, не отдавать же его в детдом, пока папа проявляет чудеса доблести и героизма. Логично? — да не то слово. Он, мама Таня, рядом и целует вас стократно во все щёки, любезно оставив мне ваши губы.

Останавливались на каждой остановке. На каждой стояли сутками — пока патрули не выполнят план по отлову. Улов делили уже в поезде: «испанцев» вели в голову и селили под замком в вагонах с надписью «Сыпной тиф», а наших нас «заселяли» с хвоста, пометив вагоны крупной почти эпитафией «Сифилис». И когда мы встретились с испанцами, чтобы курить в одном — общем — тамбуре, наступил Воронеж.

Вот так сволочной токарь обернулся сволочным стрелком.

Целыми днями я сижу на одиноком дереве (другие скошены бесконечной стрельбой) в наряде арлекина (Воронеж — это юга, на которые, по мнению командования, прилетают разные экзотические птицы; арлекины в том числе) напротив микрорайона Тепличный, оккупированного испанцами, с которыми мы пёрлись сюда в одном эшелоне. Всех прежних испанцев выкосил мой предшественник. Пополнение выкашиваю я. У меня получается, за что мне дают один патрон: один испанский труп, который с помпой в красивом гробу отправится в Андалузию, — один патрон. Если у меня не выходит, сижу на дереве без патронов, что непросто: чтобы стреляющие в меня из-да Дона испанцы считали меня птицей, надо соответствовать.

НЕНАГЛЯДНАЯ ТАНЯ, А ЧТО ЕЩЁ МНЕ ДЕЛАТЬ?!

СМЕРШ, Таня: если я промахиваюсь, и промахиваюсь, и промахиваюсь, СМЕРШ начинает считать меня испанской агентурой, за что, пока я, косою, сижу на дереве, то и дело приговаривает меня к смерти: перемигнутся — и давай палить. Испанцы целят в лоб, а СМЕРШ — в затылок, причём от СМЕРШа увернуться труднее, потому что он знает, что арлекин не птица.

Ну а сын полка на подхвате: если я попадаю, ползёт по-пластунски на испанскую сторону, чтобы снять скальп и вусмерть простреленный правый глаз. Снимает на трофейный «Полароид». Фотографии, кстати, мастерские. Вот, посмотрите на нового Халдея: шлю вам совсем свежую фоточку. Впечатлены? А моим выстрелом в этот подлый правый глаз? Этот испанец, этот идиот, который так и лез в мой прицел, гонял по передовой на велосипеде (!), жратву им, что ли, какую-то развозил, а тут я меткий-меткий. Ка-а-ак зарядил! И нет больше бесстрашного испанца. И сразу скучно: теперь они не используют велосипеды — ползают, как и все.

Пишет ли мальчишечка стишки, спросите вы, не найдя в моём треугольнике ни строчечки на пушкинском. Что вы, Танечка! За месяц, что мы воюем с подлыми испанцами, он забыл все семь лет своей жизни: мальчишечка едва начал ходить, но ползать ему до сих пор нравится больше, причём не так, как все младенцы, а по-пластунски! Всю голову сломал, думая, сидя на дереве, как с этим бороться. Я родитель, мне страшно: а вдруг он так и не выучится ходить по-нашему, на полусогнутых, когда в воздухе плещутся духи начальника и такой любострастный трёхэтажный мат его третьей полковой бабы.

И — он только-только начал говорить. Мальчишечка мой. Наконец-то он прервал молчание!

О да, Танечка, о да. Это случилось. Знаете, каким было его первое слово?

В тот день испанцы применили дифосген. Пострадали 810 наших, 28 из них тут же умерло. Одним из пострадавших был мой мальчишечка, сын полка. Надышавшись газом, мой

немтырь сам дополз до фелшара и прохрипел: «Спирт!» А потом уточнил: «Много спирта. Два стакана».

«Спирт», Таня.

Теперь он не просто сын полка, но и, мать его, подпоручик. Горжусь ли я?

Всем детям так нравится стрелять из шмайсера по стреляющим в них из ладошки с вытянутым указательным пальцем...

(Ваш ли?) (Сергей ли Львович?), снайпер на хорошем счету.

Лучшее

Надо же, я ещё умею писать :-)!

Танюха, только не психуй: я передам тебя другу из наших, прямо сейчас и черкану, левой рукой тебе, правой ему :-). Пусть и он погуляет с тобой по Центральной, гордясь моей благостыней, твоей податливостью и красотой твоего бедра (только скажи ему, чтобы не целовал в моё место, на котором я, чёрт, так и не успел сделать тебе наколку; обведи всё моё шариковой ручкой и предупреди его заранее, чтобы не было мордобоя, он горячий; не забывай делать это перед каждой встречей с ним). Но это не навсегда, дурочка: я вернусь, и мы снова будем гулять по Третьеэнску, делая его... как ты говорила? не таким коричневым? Я так и не спросил, при чём тут цвет говна, но — сказано красиво. Танька, эти прогулки — лучшее, что со мной было. А я не жадный, пусть и другим достанется. Тем более что я ему должен, и немало. Только посматривай по сторонам, чтобы вокруг него никто больше не крутился. Знаешь, что делать, если появится другая баба? Заведи себе шило с длинным осиным жалом, помещающимся в ридикюле. У другой бабы наверняка есть почки (это на спине), не такие, конечно, вкусные, как телячьи, но шило неразборчиво. Так ты останешься при навозе, а не будешь, нарядившись медсестричкой Красного

Креста, душить выработавших ресурс испанских пленных в своих объятах, как предписывает наша жалостливая, слишком жалостливая инструкция. Я бы закапывал их ещё живыми, коль скоро лежат, заявляя: «Начальник, больше не могу». Но меня не услышали: «А кто будет рыть ватерклозеты, если надо закапывать?» (тоже, впрочем, мудро).

Хотя... о чём это я... Танюха, делай что хочешь! Гуляй с кем хочешь. Пусть кто хочет целует тебя туда, где ты напишешь: «Только не сюда: это любимое место моего...» Кого, Танька? кто я тебе?.. Плевать мне на долг. А если полезет — дождись, когда он повернётся к тебе спиной, — и в правую его, в правую, в правую, в правую, в правую, а потом — в левую почку (чуть выше поясницы), в левую, в левую. А дознавателям, если спросят, если не сумеешь обаять их так, как обаяла меня, скажешь, что он, изнасиловав тебя, перед уходом зачем-то застрелился. Поэтому надень перчатку, достань его «макарова» и застрели его, когда его сломает самогонка...

Извини, что так и не вывез тебя отсюда (про себя же думаю, что ОТСЮДА нельзя убраться)... Но я собирался, правда (конечно же, бросив тебя, отвезя как можно дальше).

Короче, Танька, меня уже нет (пока только тут): дурацкий опрос, проведённый среди испанских пленных, показал, что я «самый любимый мент», — и меня тут же (три часа на сборы) отправили в командировку на Воронежский фронт. У нас это называется «поубивать за деньги». В СМЕРШе, Тань, платят; СМЕРШ, Тань, не испанцы (которых только кормят) и даже не наши (которым платят патронами: одна испанская голова стоит один патрон). Выходи за меня, Тань. Очень скоро я стану таким богатым! А ещё, Тань, даже мёртвый муж из СМЕРШа — лучший аусвайс на этом свете...

Как же широка сеть испанских шпионов в наших щелях и окопах, блиндажах и дотах, БТРах и танках, Танюха! Положив одного, всегда — всегда! — положишь второго и третьего, которые, забыв о долге стрельбы по врагу, беспечно пьют наши крепкие спиртные напитки. Идёшь дальше, — и опять пьянка. И так по всей передовой. Все, все предатели.

Одни малолетки держатся: прелести водки — не понимают, на баб — не смотрят, их просто нечем сманить. Не за что их убивать.

Танюха, говорю тебе: я уеду отсюда с чемоданами. С контейнером, полным чемоданов. А в гроб знаешь сколько уместится! Я посчитал: многие тысячи. Не поленись — выгони всех и вскрой, поцелуй в бледный лоб и выгребви всё, а потом пусть уж палят в небо и закапывают в снег.

Выходи за меня, дурочка.

Твой любимый мент.

Р. С. Прости: писал о любви, а теперь, как Оля, гордый такой строчу, негодую. И даже снайперы, Танька, лучшие из наших, раз — и уже, подлецы, изменники. Мыслимо ли не верить снайперу! Веришь ли — мыслимо: один из наших, на счету которого (было) 703 убитых испанца, вдруг перестал убивать. День сидит на дереве, другой, третий, — и ни одного нового врага, чей правый глаз натянут на его виртуозную пулю... Вот я и вызвал его с передовой. Вызвал, поставил раком по стойке «смирно» и спрашиваю: отчего же, любезный? А в ответ самая тупая, самая неподготовленная легенда: «А патроны вы дали, чтобы я и впредь отстреливал их, как врагов родины?»

Застрелил в затылок безо всяких сожалений, за что начальство обещает когда-нибудь отпустить меня на побывку. Выйдешь за меня, Танька, коли живым заскочу? А если живым, но без ручек-ножек :-)? А вот я бы «вышел».¹

¹ Надпись на обороте «треугольника» чужим бисерным почерком:

«Дорогой адресат, с дрожью в руке спешим сообщить вам, что, написав это письмо, майор Мент сложил его треугольником, сунул во внутренний карман гимнастёрки, располагающийся перед его пламенным сердцем, и пал смертью храбрых в перестрелке с пятьюдесятью семью испанскими диверсантами, ни один из которых, разумеется, не ушёл от его всепроникающей умницы пули.

Примите наши глубокие-глубокие, как разочарование, рана и океан, с.»

Мо-я хо-ро-ша-я

Мама! Мама. Ма-ма. Здравствуйте, мо-я хо-ро-ша-я Ма-ма. Вы-мы-ли ли Вы ра-му?

Мы очень плохо знакомы... мы были знакомы — но нас свёл мой яблонный лесок (город Энсск, вспоминаете?), в котором Вы провели проездом несколько (незабываемых мною) часов, после которых Вы и стали мне Мамою. Нет? Папа называл меня «мальчишечкой»... Пожалуйста, постарайтесь вспомнить. Мне это важно. Мама.

Сергея Львовича, моего папы, с которым Вы переписывались, больше нет. А я ещё есть, и сегодня, 10 февраля, мне стукнуло тридцать семь, и это письмо Вам — мой мне подарок.

Мама, с недавних пор я не сын полка, но настоящий подпоручик. И пусть мои руки по локоть в крови, я не потрачу ни капли благородного медицинского спирта на их промывание: я задыхаюсь и кашляю, как собака, а лечит только спирт. Проклятый испанский газ. Благословенный наш спирт стаканами. Он один, Мама, пока Вас нет рядом, успокаивает «мальчишечку», на груди которого нет пустого места: она вся в медалях, Мама. После спирта наступает такая безмятежность... И пластаёшься скорее назад, к Вам, Мама, чем вперёд, в их тылы, чтобы забрать ещё несколько завшивленных андалузских жизней и бросить под ноги командиру, чтобы он топтал их, выплясывая «Барыню» и раздавая НЗ-спирт. В конечном счёте эти порывы, понял я грустное, ради спирта. Чтобы не задохаться.

Когда мы попали сюда, я потерял дал речи, и устной, и письменной, но смерть папы вернула их волшебным образом. Вчера, когда мне было только семь, я тайно перерезал глотку испанской финкой спящему командиру, чтобы забрать из его планшета несколько листов бумаги и пузырьёк чернил, чтобы написать Вам то, что пробудит в Вас материнские чувства, Мама.

Я писал всю ночь, а утром украдкой перерезал глотку испанской финской заместителю командира, чтобы отнять у трупа зеркальце. Мне тридцать семь, а я уже седой. Мама! Великодушно простите за детский почерк

и глупые орфографические ошибки (а с запятыми у меня всегда был полный пор.). (Написав нижеследующее, я снова почувствовал себя семилетним. А семилетнему что... кто всего важнее? Мама рядом. Надеюсь, они не забили Вас до смерти за невыполнение плана по навозу.)

(Стоики — говно.)

1

Вот космонавт, он временный жилец, по станции помыкал — и наружу: в рассвет над Доном (зреет), в холодец, в который превратила гайки стужа, вперяться, о заклёпках хорошо губами шевелить, о маме — плохо, раскрыть скафандр, почувствовать (свежо), закрыть скафандр, ожить опять от вдоха и вспомнить, что забыл внутри ключи, замок английский, просто так не вскроешь, кувалды нет, в окно не накричишь — нет никого, снялись вчера, Воронеж внизу свербит, но как в него упасть? И зеленя заранее в печали: падёт — помнёт, но — сломанная пясть и позвоночник надвое, в орале, когда пахать затеют через год туземные славяне, станет колом. И он подумал (совершу налёт, но не на пашню...) бережным глаголом и отпустил себя, и сделал шаг, и думал по инструкции о разном: о дне, когда родился: всё никак не мог пробиться в воронкообразном туннеле к свету, и, изрезав мать, его достали; стыдно о стакане вина на лестнице, который обнимать не дали — влили, сделав в мальчугане спираль и штопор с выпаденьем в сон; об Ане Т. (сто лет прошло, а снится); и о трамвае (впустят ли в салон, в скафандре пыльном и α -частицах?), но вспомнил, что трамваев больше нет, и в гермошлеме скучились туманы... Когда он пал и занял на билет, я про Луну ни слова — после, рано.

2

Когда он пал и деньги на билет выклянчивал малопочтенным жестом (его не понимали, а в ответ — сверлящий палец увиска с протестом на чей-то мнительный, насмешнический перст в открытой ране, ибо позвоночник торчал наружу), рот его, разверст, бугрист от мата, словно бы подстрочник переживаний, скрашенных веслом, улова

рыбы, на замке был, я же гаддел о том, как ждал, о пожиллом, чреватом, если не разнообразию бессмертьем, возрасте... я сразу обо всём и всеми бормотал, и до Луны ли мне было: «...обреки на чернозём хотя б Воронеж, а? А то изныли на подлых глинах. Дашь нам чернозём?..» А он, вставая, не принёс ли сыру, высматривал и дулся: мол, сосём, а сулугуни жалко, словно дыры, ей-богу, чёрные. «Куда же ты теперь? — я шире пасть открыл. — А что в отплату?» Он показал на сердце: просто верь. Он руку распрямил как ординату.

3

Хребет оставим, что белел, и слом хребта такой, что даже на коляске — ну разве что на детской в нежной тряске, в смирительной пелёнке, о былом ещё не помнящим и с пятернёй во рту, обсосанной до вздоха: «он в отключке» (и анаша, конечно, почемучке — когда орал: «пристала ли хребту, такая боль?» — на выручку пришла), — Он не был транспортабелен, забудем: боль скорбная, кто б спорил, но и людям пристало ли не сметь дохнуть от зла, с которым Он вернулся! Перемат в глазах на выкате и лютый рык на охи о мёртвом — о трамвайной суматохе, которой больше нет, — и течь стигмат, когда Он, воя, встал (!) и до такси, почти не опираясь на калеку (мои болячки выливались в реку, что выкрасила в алое джерси, которое, набрасываясь, псы зализывали, заживляли то есть), доковылял (!!), — вот бытовая повесть Его новейших нравов, дел: попсы Он захотел в такси — и кулаком (свинцовым, да-с) лупил шофёра, Баха заслушавшегося: небось, Аллаха не слушаешь, а лабухом ведём, — не на иврите — хуками срамил до крови, пугачёвой и улыбки, и я, освоившись, возненавидел скрипку и отзывался на «безмозглый гамадрил».

4

Не говорил Он долго; не беда — мы лепетали, живость изливая: ещё в пелёнках дыбились: «Айда крошить: одна десантно-штурмовая бригада — и публичные дома похорошеют, ибо амазонки, под Троей полонённые, весьма...» Вот, к слову, почему рентгеноплёнки ущербны органами вплоть до головы: Он отрывал их, злясь, что

мы, как русский, Рамирес Санчес, не таясь резвы, и наш СДВГ лечил утруской. Вот, кстати, отчего разнятся так характеры, обычаи и рожи у тех, кто Агамемнону — кержак и спрашивал с него немного строже, и голову ему рубил в размер гимнастики по радио и польки, и тех, кого бивал его рейхсвер. Вот с щей каких помалкивал Он столько: резня под Фивами — и Он опять задет и рвёт, переживая, наши члены, гадая будто: любят или нет, — а мы бормочем, даром что разменны, о всяком, о своём, и до ракет договоримся поздно или рано, — и Он очнётся, Он взорвётся: «Нет» и перестанет рвать орангутана на гамадрила и эктогенез, и Он закатит: «Всё, я улетаю, куда подальше, хоть на МКС». А мы тотчас собьёмся в волчью стаю.

5

...А может, не собьёмся; может, мы сначала соберём Ему на Drágon, — надсмотр Его и строгости на взмыв, на вознесенье, выменяв: заплакан, растроган, Он «поехали» рукой махнёт — и передумает, а поздно: инструкция — Завет, не беспокой, окстись, Твой след уже лобзают в дёсны на Елеонской, лесенки пекут по всей Воронежской (уж наедятся дети мучного с сладким!), только б первопут Твой штатным был и не рыдали четьи. (...) С Тобою мы, никто против Тебя, мы просто идиотничать горазды. Лети давай... И ЖРД, рябя небесный свод, дохнёт Екклесиастом: под вечер запалим большой костёр, чем чуть отложим ядерную зиму, а утром — в стаи, ибо прожектёр свалил, и притворяется нестерпимо.

6

Тут не взвиваются — нó только падают птицы, не оттого ли у кати и маши не лица, а оковалки, а были бы слёзы — да нету; катя — ребёнок, а маша — придурок, сюжету этой планеты, Воронежа этого, цённы: не петушок — ось планеты сосут, нотабены обе достойны. Внутри дальнзоркость у кати: станет спиной, оковалок уставив в цукате темени здешней, всегдашней в пространство за стаей, нету которой, но скоро нагрянет из далей, завтра предстанет пред катиной частью филейной, — и КОСМОНАВТ из какой-

то строптивой вселенной, где ещё чувствуют, где ещё ртом и глазами, пусть рот набит, говорят и сверкают, трусами — мокнут трусы, промокают часы — вслед за майкой влажной, как простынь, когда засыпал с уругвайкой, вдруг понимает, что катя, ребёнок, а видит: вот КОСМОНАВТ, а напуган, могла бы — эпитет уничижительный («сволочь какая-то, падла, [где монпансье? без конфет не выходят из шаттла!]»), дать КОСМОНАВТУ, но — окорок вместо хлеба. Местный юродивый, маша танцует бывало, — но чему в такт? подо что? подо что эти тряски? Под раз-два-три! КОСМОНАВТ постигает: под связки, что в гермошлеме, в его голове рвут паяцы, клоуны в шаттле, под «кák там? чéго там?» Боятся. Слышит блаженная: окорок — á без прохладцы...

Катя и маша! А все остальные роятся.

7

На Воронеже-7 в фотографиях всех, кто остался в Воронеже с носом (на земле неохватной, без сносу, многоплодной и смуглой, в занозах ос, сосущих колёсные оси, и с надрывным прогнозом «со стрех

в марте будет сочиться вода, в декабре она станет утёсом острым, ломким, отёчным, и дёснам вымерзать, насосавшись, а соснам — не звенеть, но похрустывать крёстно, словно в плоть загоняют, да, да,

гвозди. То есть тоска. В кубарé?»), поголовный излишек живого: лица мирные — да Куликовы, обезьяньи в бны дни — а толковы, без скафандров — и смех Иванова не отличен от плача Доре.

8

Бел «Воронеж-8» и этюдн: мы лежим втроём, друг дружке спины грея ртами; с краю я, о ртути как о прокуроре котловины с холодом пронзительным и ясным думаю — но есть ещё желанье: на рассвете ртуть, пускай не часто, тянется; так холодность баранья позволяет радоваться смерти. Нас свалило в центре Энцелада; нам сказали: столько раз отмерьте, чтоб в микрорайон запанибрата забредали выпить и смягчиться и шахтёр с колец сатурнианских, и девіца с котелком из «Фрица»,

не упоминая о нюансах: аде стужи, дрожи с очагами под «Восьмым Воронежем», но иже есть теперь пространство, что шагами вымерено, выверено, слышу вас всё хуже, что ты там буффонишь?! Вбиты колья, застолбили кратер! Все дороги, как ножи, в «Воронеж» тычут! Всё, приём. наброска автор, я уже кусок первопроходца, ибо холодрыга сзади — песня: землекоп да поостережётся раскрыть затылок: лом — а треснет.

9

Был девятым от звезды и мёрз — и пылал, и вот уже картошка запекалась, и на лицах ворс опадал, и скалились, и трёшка обретала цену: на неё добывался мяч футбольный, чтобы дети стариковское чутьё удавили и, ломая стопы, забивали, делая 100:0: много ль надо для игры на крыше дома, небоскрёба, антресоль чья горит, горит, горит, а выше люди согреваются: еду приготовят на пламёнах снизу, поедят, попятятся к стыду своему на Мону и на Лизу, что затеют мыться на виду — в том числе у НЛО, который иногда нисходит, и болту ничего не стоит тонкокорый бортовой иллюминатор — раз, и пробить, но в нём мелькают лица, и замах стесняется гримас посторонних, бытия землицы, отдалённой от светила так, что о хладнокровии мечтаешь, — и мечтают бледно, на пятак, о земле, где человек нетающ.

Мама! Прости, что трогал этот треугольник грязными лапами.

Мама! Отмой мне лапы.

Мама! Забери меня отсюда.

Мама! Увези меня ОТСЮДА.

Мама, прости: однажды ты нарисовала семь прекруглых планет, а я сосвоевольничал и написал ещё и девятую. Нашу. Ты же не думаешь, что нам на ней место?

Твой мальчишечка Сашура.

Ненутёвая

Подруги, моё вам с помпончиком.

В «Справочнике убегающего» в главе «Подруги» есть вещее: «Вляпавшись в незнаемое, которое может быть каким угодно, но только не воркующим вам на ухо: «Вот это грудь, а не хотите ль лона? я вас люблю, меня к вам неуклонно всегда тянуло», будьте готовы к тому, что две лучшие подруги, в подполе у которых вы попроситесь пересидеть одно из состояний родины (коих, напомним, всего два: помутнение и похмелье после поминок по просветлению, любимому недоношенному ребёнку, который, желая порадовать родителей, засунул в рот всю ладошку и задохнулся), не откроют вам дверь». Вещее же, не так ли, подружки?

Вчера, получив одно письмо, я сошла с ума и записалась в испанские пехотинцы, чтобы сбежать из Энска-3 в Воронеж, там отыскать сына полка *наших* и одного из моих мёртвых любовников (с которым мы даже не целовались) — и вместе с ним наконец-то убраться ОТСЮДА. Пустите к себе, когда мы будем пробираться через пункт А? То-то и оно. (Всегда готова.)

Не печальтесь, девочки: в том же труде в главе «Воронеж» вас оправдывают витиевато, но искренне: «Податься в Воронеж — всё равно, что постучаться во Владимирский централ с просьбой о свободе, или ступить на минное поле, захотев позагорать, но этого не избежать, если даже ваши подруги (см. одноимённую главу) отказали вам в помощи». А ведь я, кроме прочего, надеялась разжиться у вас деньгами и, простите, «пушкой», с которой мне было бы спокойней: мальчишечку, конечно, не застрелила б, но себя — запросто, потому что попытки перед смертью мне нравятся меньше самой смерти, а мальчишечка — какой никакой, а уже ветеран: вдруг они будут к нему снисходительны: не станут ломать ноги, а сразу объявят умственно отсталым... Кать, у твоего же есть. Маш, и твой без неё спать не ложится, правда же? Их только пожурят, потому что кто сейчас не пьёт и не теряет по пьяни пистолеты, зато я буду спокойна, как яблоко за

христовой пазухой. Подтибрили и уронили в форточку: буду сторожить, подберу и исчезну. Нет? да?

Мальчишечку, кстати, зовут Александром Сергеевичем. Понимаете? Что, даже это не может пробрать вас?!

Еду в поезде, учу испанский: ¡Dios mío, me golpeaste en la cabeza! ¡Me rindo! ¡Por favor no dispare! ¡Seguiré siendo útil para ti! ¿Quién crees que restaurará la gloriosa ciudad de Voronezh, que destruimos hasta los cimientos? (Боже мой, вы ранили меня в голову! Я сдаюсь! Пожалуйста, не стреляйте! Я вам ещё пригожусь! Кто, по-вашему, будет восстанавливать разрушенный нами до основания славный город Воронеж?) ¡Residentes de Vorónezh! ¡Ríndanse, perros rabiosos! ¡Estás rodeado por fuerzas superiores del ejército andaluz! ¡Al menos te daremos de comer bolas de masa! (Жители Воронежа! Сдавайтесь в плен, бешеные собаки! Вы окружены превосходящими силами Андалузской армии! Мы хотя бы накормим вас пельменями!) ¡Hermosas mujeres de Voronezh! ¡Os haremos amadas esposas! ¡En Andalucía, las mujeres de Vorónezh valen su peso en oro! ¡Dejad a vuestros maridos alcohólicos y venid a nuestro lado por caminos secretos! (Красивые женщины Воронежа! Мы сделаем вас любимыми жёнами! В Андалузии воронежские женщины на вес золота! Бросайте мужей алкоголиков и переходите на нашу сторону тайными тропами!) ¡Residentes de Vorónezh! ¡Nuestra junta es más humana que la vuestra! (Жители Воронежа! Наша хунта человечнее вашей!) ¡Cambio mi rifle por un beso ardiente de una mujer de Voronezh! (Меняю винтовку на жаркий поцелуй воронежской женщины!) ¡Bésame mucho! (Зацелуй меня!) ¡Ahora te golpearé en la cara! (Сейчас как дам по морде!)

Еду в бронепоезде, дерусь с *нашими*, которые едут обок. В поезде мы сидим в клетках, поэтому только переругиваемся, а на остановках нас в сопровождении собак выпускают дышать дымом и оправляться, — и мы калечимся (доехать бы до фронта живой). «Вы чего припёрлись на нашу землю?» — начинают они. «Воронеж испокон веку был жемчужиной Андалузии, — парируем мы. — Если бы вы, олухи, умели читать, то знали б, что его настоящее название Севилья. Было и остаётся! На каком языке, по-вашему, говорят в

Воронеже?» — «На нашем?» — «Ага, сейчас. Дома люди разговаривают только на испанском. А на вашем собачьем — только с ментами, когда избивают их за поборы и наглые взгляды на чужих женщин, потому что все они оккупанты, не понимающие нормального языка». «Сами вы perros», — отбрёхиваются *наши*. Собакам не нравится упоминание их языка. *Нашим* не нравится коннотация «оккупант». А нам не нравится, что Воронеж до сих пор не лежит в руинах. Эти недовольства искрят и а) вцепляются нам и *нашим* в глотки, б) ломают носы *нашим*, в) выбивают нам резцы (и даже премоляры). Нередко в боях на остановках на той или иной стороне участвуют местные. А бывает и так, что мы вместе с *нашими*, аборигенами и СМЕРШем бьём партизан, минирующих пути и пускающих наш эшелон под откос, за что партизаны уходят в леса, где с ними никто не связывается. Вот почему леса стоят до горизонта такие угрюмые и неизведанные, а зверьё и грибы в них так нас ненавидят.

По ночам я так вою в своей клетке, что из лесных землянок струится несказанный демаскирующий свет: это просыпаются и начинают чудить самые чувствительные из партизан. Вооружившись автогенном, они нападают на бронепоезд и срезают под корень наши клетки, только бы мы не драли глотку. Но завываю одна я, а до меня резак никак не доберётся. Попутно они вешают на столбах всю бригаду машинистов, и мы месяцами ждём новых паровозников.

Девки, этот треугольник я выбросила на полном ходу в щель для малой нужды. Кто-нибудь из местных, для кого «Андалузия» не пустое слово (¡Camarada, no pasarán! Над всем Воронежем безоблачное небо! Compadre, quiero morir / decentemente en mi cama. / De acero, si puede ser, / con las sábanas de holanda¹), поднимет его и перешлёт вам. Правда же, товарищ? Спасибо, товарищ!! Чего бы это тебе ни стоило, товарищ!!! С меня засос, товарищ.

Ваша непутёвая Танька.

¹ Земляк, подстойней встретить / хотел бы я час мой смертный: / на простынях голландских / и на кровати медной. (Федерико Гарсия Лорка, пер. Анатолия Гелескула.)

Выжившая и счастливая

Танька, привет, это письмо счастья.

Даже не думай, что это какая-то сволочная ошибка («мало ли Танек на чёрном свете»). Ты — та самая штучка из пункта А, которую так рвало от *нашеести* и которая так рвалась ОТСЮДА, но завязла в Энске-3, а теперь, перекусав свою блондинистость в андалузистость и безропотно надев кандалы, прёшься добывать Воронеж. ¿Eres completamente estúpido o qué? (Положи руку на сердце, Танька. Положила? Ты же не только ради мальчика катишь на эту злосчастную телевойну с настоящей кровью из всех шрапнельных дыр и настоящими фекалиями из повешенных перебежчиков, которых заманили назад детским обещанием отпустить грехи и дать новую лычку.) Но все твои надежды на прорыв фронта и Липецк, а там и Тамбов, а за ним и Серпухов, — тщета и благоглупость, ибо ты знаешь, что этому не бывать. И не потому, что этого не может быть (может, и может), нет. Просто *наши* никогда не смогут жить под испанской пятой, какой бы плотью от нашей плоти она ни была. Уже через пятилеточку после взятия Серпухова что начнётся, Танька? Вольный город Серпухов, не расстрелявший всех (всех), кто поставлял Воронежскому фронту испанцев, *наших* и смершевцев, и всех (всех), кто счастливо плакал, слыша о фронтовых победах *наших*, захочет выйти к какому-нибудь морю.

Не бывать, ибо фронт после смерти карлика может быть свёрнут в любой момент — и переброшен под Якутск, куда десантируются подлые португалыцы.

Танька, хватит этой чуши.

Танька, мы — единственная реальность в твоём воображаемом мире.

Танька, никакая это не «подстава», не военная цензура, не господь Б-г, это, Танька, Надмирный Центр Счастья для Всех и Каждого. Видишь, какой у нас каллиграфичный подчёрк и насколько пронзительны аргументы?

Ты оставила свои подозрения? перестала сомневаться в нашей реальности и наших добрых, но неотвратимых намерениях? Вот и славно. Какая же ты хорошая (ей-богу).

Вот что ты можешь и должна сделать...

(Нет-нет, конечно, повоюй, поубивай на славу *наших*, ведь ты так этого хотела (они и впрямь омерзительны; впрочем, как всякие животные, которым что-то когда-то недодано)... Только помни, что о них тоже всплакнут, пусть они и готовы прихлопнуть вас А-бомбой. Тебе нужны эти слёзы?.. Разумеется, отвоюй у *наших* мальчика и, отвоевав, потетёшкой его, смой с него кровь, собери его первую книжку стихов, объясни ему, что такое хорей, да так, чтобы он (бог знает зачем) затвердил это навсегда... Только помни, что он всё равно канет: добежит однажды до канала и голову сунет воде в оскал.)

...Или не сунет — если ты напишешь ему и ещё девяносто девяти *нашим*, которые прямо сейчас убивают сами или сами же гибнут, а они, твой мальчик и каждый из этих 99 скотов, напишут ещё одной сотне боевых животных и передадут эти письма адресатам (за которых нам тоже тревожно, но). Уж писать-то Александр Сергеевич мастак, сумеет (переписывать, конечно, тоска, но всё-таки проще)... Только помни, что эти *наши* выживут, а он вырастет при тебе выжившей и счастливой-счастливой в форменную недурно пишущую пьянь, от которой ты будешь сидеть до конца жизни, а твоё ОТСЮДА если и случится, то только в виде самолёта с твоим прахом, закопать который, увидев объявление в газете о невозможности закопать из-за нищеты, захотят добрые тамошние люди, которым покажется интересным отправить урну с тобою на орбиту одной из планет нашей системы...

Тань, ты всё поняла? Кивни (прямо сейчас, добравшись до этого вопроса), если согласна с перспективкой и сделаешь. И — не кивай, дурочка, если НЕ ХОЧЕШЬ МАЛЬЧИШЕЧКЕ СЧАСТЬЯ. (И — извини, если у тебя другое представление о с. Впрочем, не в чем нам извиняться. Вежливость, не больше.)

ОК, спасибо.

Сначала мы думали, что тебе не нужен *наш текст письма счастья*, что ты и сама не хуже сочинишь. Но кандалы, Танюша, но клетка, но партизаны... Они могут

давить на тебя, и тогда наш, ха-ха, «фокус» не сработает.

В общем, вот тебе текст, который, ага, надо бы переписать от руки сто раз, — и тогда будет этой сотне счастье: она выживет, Таня. Ты её спасёшь.

Поехали, Танечка? Давай, пока тебя не пристрелили наши или хвататы из СМЕРШа за твой невоздержанный язык (хватит, мы серьёзно, хватит называть их быдлом. Они — оно, но, пожалуйста, не говори этого вслух). Ты сможешь.

Здравствуйте, дорогой наш человек _____ (сюда следует вписать ФИО адресата; все ФИО приведены в письме), участвующий в защите Воронежа от подлых испанских полчищ!

Решать, конечно, вам, но вот что случится, если вы не перепишите это письмо сто раз и не вручите его лично или не отправите по почте (небось полевую ещё не всю поубивали?) тому, чьё имя только что указали:

(Ну а сами вы, Танечка, сдохните в первом же бою: вам вдруг зачем-то захочется, обвешавшись гранатами, броситься под *наш* танк. Дикое желание, правда? Но вы его осуществите. Переехав вас, танк, словно ему это доставляет удовольствие, начнёт куражиться над вашими останками, размалывая их в крупный фарш и втаптывая фарш в голую хлюпающую глину [это случится в ливень]. Этот абзац только для вас, переписывать его не надо.)

1) Подпоручик Александр Сергеевич П., бывш. сын *нашего* полка, 8 лет, поднимая товарищей в атаку на испанский дзот, прокричав «ура» и «ну что же вы, ребята, один я, что ли, буду...», будет перерезан пополам в районе поясного ремня некоей «летающей фрезой» (до сих пор неопознанным вражеским оружием), после чего «ноги» героя пробегут вперёд ещё метров триста, а верхняя часть отважного тела, закончив укоряющий вскрик: «... бросаться грудью на амбразуру?», загребая руками, примется быстро-быстро ползти прочь от испанских позиций, но вскоре будет подмята под себя...

2) ...павшим смертью храбрых под вражеским пулёмётным огнём гвардии рядовым Балановским Еленой Владимировичем, воспитанником ПНИ им. Маршала Будённого, 33 лет, кавалером ордена Святой Анны, в которого случайно попадёт...

3) ...гвардии рядовой Яковлев Вольдемар Владимирович, охранник блиндажа, успевший крикнуть: «Стой, кто бежит?», инвалид 2 гр. по зрению, 69 лет, участник пограничного конфликта 1969 г. на о. Недоманском, которого, спустя мгновение, разорвёт на тысячу юнионджеков шальная 1000-килограммовая авиационная бомба...

4–100) ...которая метила в вышеупомянутого подпоручика, а попала в близлежащий блиндаж, в котором в карты на раздевание гвардии старшины медицинской службы Мельниковой Утонулы Владимировны 68 лет, играли гвардии ефрейторы Иванов Михаил Владимирович 18 лет, Кузнецов Александр Владимирович 19 лет, Соколов Максим Владимирович 20 лет, Попов Артём Владимирович 21 года, Лебедев Марк Владимирович 22 лет, Козлов Лев Владимирович 23 лет, Новиков Иван Владимирович 24 лет, Морозов Матвей Владимирович 25 лет, Петров Даниил Владимирович 26 лет, Волков Дмитрий Владимирович 27 лет, Соловьёв Евгений Владимирович 28 лет, Васильев Денис Владимирович 29 лет, Зайцев Антон Владимирович 30 лет, Павлов Игорь Владимирович 31 года, Семёнов Юрий Владимирович 32 лет, Голубев Олег Владимирович 34 лет, Виноградов Вячеслав Владимирович 35 лет, Богданов Василий Владимирович 36 лет, Воробьёв Станислав Владимирович 37 лет, Фёдоров Вадим Владимирович 38 лет, Михайлов Макар Владимирович 39 лет, Беляев Адам Владимирович 40 лет, Тарасов Богдан Владимирович 41 года, Белов Леон Владимирович 42 лет, Комаров Платон Владимирович 43 лет, Орлов Савелий Владимирович 44 лет, Киселёв Демид Владимирович 45 лет, Макаров Лука Владимирович 46 лет, Андреев Мирослав Владимирович 47 лет, Ковалёв Савва Владимирович 48 лет, Ильин Тамир Владимирович 49 лет, Гусев Аюр Владимирович 50 лет, Титов Ардан Владимирович 51 года, Кузьмин Арсалан Владимирович

52 лет, Кудрявцев Айдар Владимирович 53 лет, Баранов Мирумир Владимирович 54 лет, Куликов Бабудоржо Владимирович 55 лет, Алексеев Вандан Владимирович 56 лет, Степанов Ганбаатар Владимирович 57 лет, Смирнов Дамдинцэрэн Владимирович 58 лет, Сорокин Ешижамса Владимирович 59 лет, Сергеев Жумбурул Владимирович 60 лет, Романов Зунды Владимирович 61 года, Захаров Лонбо Владимирович 62 лет, Борисов Мунхэ Владимирович 63 лет, Королёв Намхабал Владимирович 64 лет, Герасимов Очиржаб Владимирович 65 лет, Пономарёв Пурбэ Владимирович 66 лет, Григорьев Регби Владимирович 67 лет, Лазарев Сагадай Владимирович 70 лет, Медведев Содномбал Владимирович 71 года, Ершов Тудуп Владимирович 72 лет, Никитин Убаши Владимирович 73 лет, Соболев Хаймчиг Владимирович 74 лет, Рябов Цыбик Владимирович 75 лет, Поляков Цэдэнбал Владимирович 76 лет, Цветков Чимитдоржи Владимирович 77 лет, Данилов Шойдагба Владимирович 78 лет, Жуков Эелдэр Владимирович 79 лет, Фролов Юмжал Владимирович 80 лет, Журавлёв Ямпил Владимирович 81 года, Николаев Балчый-оол Владимирович 82 лет, Крылов Данзыпай Владимирович 83 лет, Максимов Езуту Владимирович 84 лет, Сидоров Моламдай Владимирович 85 лет, Осипов Карашпай Владимирович 86 лет, Белоусов Оолчуккай Владимирович 87 лет, Федотов Седен-Дамбаа Владимирович 88 лет, Дорофеев Тоюн Владимирович 89 лет, Егоров Побед Владимирович 90 лет, Матвеев Удюмбараа Владимирович 91 года, Бобров Хемчик-оол Владимирович 92 лет, Дмитриев Самба Владимирович 93 лет, Калинин Чамьян Владимирович 94 лет, Анисимов Шаалы Владимирович 95 лет, Петухов Шюгдюр Владимирович 96 лет, Антонов Эректол Владимирович 97 лет, Тимофеев Яндай Владимирович 98 лет, Никифоров Эрэквын Владимирович 99 лет, Веселов Гивэу Владимирович 100 лет, Филиппов Рытхэу Владимирович 101 года, Марков Аляпэнрын Владимирович 102 лет, Большаков Тымнэвакат Владимирович 103 лет, Суханов Лявтылевал Владимирович 104 лет, Миронов Енавъечгын Владимирович 105 лет, Ширяев

Тайкыгыргын Владимирович 106 лет, Александров Измарагд Владимирович 107 лет, Коновалов Конкордий Владимирович 108 лет, Шестаков Аполлинарий Владимирович 109 лет, Казаков Кесарь Владимирович 110 лет, Ефимов Любомудр Владимирович 111 лет, Денисов Неон Владимирович 112 лет, Громов Очертенет Владимирович 113 лет, Фомин Махатма Владимирович 114 лет, Давыдов Ганди Владимирович 115 лет и Блинов Владимир Владимирович, чей возраст так и не установят. Все они пропадут без вести. Да и как может быть иначе, если в бомбе одна тысяча кг.

Ах, эти лютые испанцы.

Сто раз, сто раз! Иначе всё это не имеет никакого смысла: и вы сдохнете, как собака (себе письмо тоже можно отправить, на всякий случай), и все, кому вы поленитесь отослать это письмо счастья.

Вам это надо? А они, думаете, тоже хотят вот так подло, из-за вашей лени, сдохнуть? (А просто руки в сторонке, и ноги попробуй ещё найти, — это ерунда, ибо мама накормит и снесёт на горшок.)

Быстро сел(а) и начал(а) переписывать! И чтобы сегодня же вручил(а) или отправил(а). Договорились?

Навеки ваш Надмирный Центр Счастья для Всех и Каждого (НЦСВК).

Таня, чернила и папирус есть у конвоя. Старшего зовут Лобачевский Бокасса Владимирович, совсем юноша, из семьи профессиональных терменвоксистов, и ты ему нравишься (внешне, а внутренне ты его распалаяешь, потому что он из семьи глухих, а твои губы, помимо твоей воли и воли его приклада, произносят далёкое от толерантности слово «быдло», и он — единственный из всего конвоя понимает, за что бьёт тебя смертным боем, особенно налегая на передние зубы). Обменяй их на... что там у тебя осталось, кроме жовиальности? Может, лифчик? Лифчик подойдёт, сержант Лобачевский примет его с радостью (обоняние у него дай бог каждому), даём зуб.

Недотёпистая

Милая недотёпистая Таня!

Я случайно прочёл все твои письма. Какая-то архикрылатая сволочь подсунула мне папочку, и я... Извини. Не мне писано, не мне и зачитываться. Больше-с не повторится-с.

И чего ты в конечном счёте добиваешься? Отмщения? Неубиения мальчишечки (позывной Винету), который, если на пальцах и счётах, грохнул на круг испанский кавалерийский полуполк им. Хитроумного идальго, чтобы свалить с этим убийцем ОТСЮДА?

А кому ты собралась вырывать око, Таня? Твоего токаря (позывной Арлекин), который грохнул 703 испанцев (в том числе твоего юродивого почтальона с позывным Паэлья), которого грохнул твой смершевец Мент, которого грохнул (застрелил из наградного пистолета Стечкина и надругался над трупом) испанский диверсант с позывным Пельмень (серийный сергиев-посадский убийца по кличке Вовчик-Чика), которого грохнул (перерезал автогенном) *наш* огнемётчик с позывным Мяса (стрелочник со ст. Ока Атилла Владимирович Делакруа), которого грохнул (подстрелил из пулемёта Льюиса) испанский военно-воздушный ас с позывным Уточкин (педофил из г. Костриков по кличке Пусси), которого грохнул (подстрелил из пулемёта ШКАС) *наш* оператор БПЛА «Смертушка» с позывным Мист (Софья Владимировна Перовская из Ленинграда, праправнучка гр. Разумовского), которого грохнул испанский метатель заточек с позывным Стыд (безымянный лиговский урка, воспетый Майком в песне «Гопники»), которого грохнул (написав донос в испанскую контрразведку) *наш* лазутчик с позывным Испанская Фамилия, одетый испанским военным проктологом (Женя Владимирович Пертегас, мастер спорта по шахматам, Люберцы), которого грохнул испанский пращник с позывным Лыбица (ёбургский гоп-стопник по кличке Володька-Кирпич), которого грохнул (переехал грузовиком «Студебеккер») *наш* военный шофёр с позывным Любэ (Ифли Владимирович Лермонтóв, официант кафе «Пушкинь» из пункта А), которого грохнул

испанский боевой упырь с позывным Толстый (мастер-живодёр В. В. Одоевский из Донского монастыря), которого грохнул (запорол на конюшне) *наш* кавалерист с позывным Мосфильм (Анаксимен Владимирович Ахбазаров, гл. конюх Первого конного завода им. Первой конной армии), которого грохнули (растоптали и посадили на кол) неблагодарные испанские зрители с позывным Четыре Танкиста-и-Шарик (сиамские близнецы-карманники по кличке Шнырь-и-Шастышасть из Энска-17), которые ещё живы, но долго ли им осталось, Таня? Сиамцев уроешь? Не жалко? не стыдно? сиамцев-то?

И что значит ОТСЮДА? С земной орбиты? А если это невозможно? Кто-нибудь хоть раз покидал по своей воле Аушвиц, Танечка?

В вашем «Справочнике убегающего» (см. главу «Варп-двигатель») разве не сказано: «Стоики, как сказал П., и впрямь — говно, но другого выхода нет. Все выходы замурованы, а варп-двигатель мы ещё не изобрели?»

Ибо ты уже не смогла сбежать, побег-2 (да с мелкой версифицирующей обузой, чьи ручонки по локоточек в красном, и это не кумач) тоже не удастся. Тебя опять отловят в каком-нибудь Энке (скорее всего, в третьем, вашем непущай-форпосте на пути из сарматов в люди) и опять утопят в навозе, если ты не захочешь отправлять себе отложенную похоронку с Воронежского фронта).

Я, конечно, ошибся: творить вас — не стоило. Плохо *это*. Теперь-то я вижу. Ограничился бы скотами, гадами и зверьми земными по роду их, — и было бы *это* хорошо. Но дело сделано. С трудом терпеть — всё, что я теперь могу. Нет-нет, смахнуть вас с доски — нельзя, но можно. Но я ведь и тебя, Танечка, смахну. А тебя мне отчего-то жалко: дурочка ты, люблю я дурочек. Кроме того, мне так нравились твои анаис-нин-письма! Я же взалхлёб их читал (кто-то подсовывал в папочке «Их ничего-так-рассказики») и всей архисволочи, случалось, пересказывал (знали бы, кому настучать, — стучали бы, да ударно, и чалился бы я сейчас по 58-й две пятилеточки без права переписки с тобою, моя хорошая). Ты же продолжишь сочинять их, если я оставлю тебя? Одну тебя на всей доске. Впрочем, для кого

ты будешь писать их? Не для меня же... Ну а бабочек я, Таньша, не трону. Люблю их не меньше. Сможешь писать для бражников и шубных молей :-)?

Ответь мне, обменяв синие чернила «Радуга», ручку-вставочку и верже с водяными знаками на... Труссы-то на тебе есть? Вот на них и выменяй. Конвою — радость, а мне — занимательное чтиво.

Напиши мне, что угомонишься и будешь как все и со всеми, что, если смертный бой сведёт вас один на один, прикинешься мёртвой и пристрелишь токарского мальчишечку как бешеную собаку, пока он, всхлипывая, заносит над тобой (чем апачи снимают скальп?), после чего переоденешься в *нашу* форму, чтобы незаметно перейти на *нашу* сторону и быть смертельно раненой в новом бою, но выжить, уползши по откормленным воронежским чернозёмам в сторонку, где залижешь раны и выскочишь замуж за забулдыгу, который будет гонять тебя с вилами за кончившуюся водку и детей с синдромом (как называется эта умственная немочь, когда уже бреющиеся дети путают чужие щёки и горла со своими, а бритву со штыком, а ещё слышат голоса, умоляющие отвести первого встречного к обрыву, заставить его написать предсмертную записку и бросить монетку, чтобы узнать, кому прыгать первым?), которые выведут коров щипать поле, а вернуться без ног-рук, потому что всё вокруг заминировано, ибо рядом восемь *наших* Энских областей, из которых так и лезут, так и лезут, чтобы позариться.

А ежели не посчитаешься с моим мнением и продолжишь куролесить, знай же, что я палец о палец не ударю, когда подруги не узнают тебя, а старушка мать, получив от тебя письмо, даст объявление в газетке в разделе «Они нам больше никто» и отнесёт донос на тебя в конный отдел тайного приказа, чтобы он, выследив тебя, не чикался (чтобы ты не успела выпить ампулу с ядом), а затоптал на месте, и чтобы ей дали наконец пенсию.

Честь имею именоваться твоим японским (посмотри в щель для малой нужды: вы же ст. **Напа** просвистываете) Б-гом. (Скоро пункт А, но ты его не узнаешь — уж очень похорошел. Даже из щели для нужды будет нести кофе.)

Твоя

Мам, привет. Мама, пожалуйста, не доноси на меня! Только не сейчас, ладно, мамочка?

Я знаю, мама, знаю, что не писала тысячу лет, за которые ты успела разувериться в моём существовании. Но я всё-таки есть: этот славный почерк, которым я пишу, несмотря на трясущиеся от страха руки, — твоя заслуга; он неотличим от твоего, но на этом наши сходства (увы и к счастью) кончаются (если не считать моего отражения в зеркале. Как же можно было так ошибиться с выбором пробирки со сперматозоидами!). То, что ты разочаровалась в моём существовании, не новость, но терпеть меня осталось недолго.

Мама, не доноси на меня.

Мама, всё хуже, чем ты можешь себе представить: я 666-процентный враг — я воюю на Воронежском фронте на стороне подлых испанцев. За одно это ты вправе требовать, чтобы по моему твоему лицу, когда меня возьмут в плен, прошлись мелкой тупой тёркой. Я не против, мамочка.

Мама, не доноси на меня.

Но я о другом. В одной полезной книжке в главе «22:0» сказано, что испанцы не жильцы: «Каждый год наступает счастливое время, когда *наши* разбивают испанцев в кровь и на голову, после чего многотысячные остатки побеждённых испанцев вывозятся в пункт А для участия в ежегодном параде Окончательной Блистательной Победы. Потерявших всякую спесь испанцев ведут через весь город-герой, а восхищённые-возмущённые жители срывают с них погоны, ломают им ноги удобными обрезками арматуры и побивают новенькими кирпичами, поддоны с которыми стоят вдоль улиц, по которым проходит праздничное шествие».

Мама, не доноси на меня.

Так было всегда, мама, и так будет сейчас. И мне надо, чтобы ты, отыскав меня среди пленных испанских женщин (обычно донны замыкают колонну недавних оккупантов), забила меня, именно меня, насмерть, потому что в таком случае тело забитого отдадут тому, кто бросил в него последний камень (или нанёс последний удар), чтобы

жителю пункта А было чем покормить собак хотя бы в этот святой праздничный день.

Мама, не доноси на меня.

Мама! Пожалуйста! Побей меня, но не забивай. Так надо. Так надо мне. ТАК НАДО ТВОЕМУ ВНУКУ, МАМА.

Мама, не доноси на меня.

Да-да, мамочка, у тебя есть внук. И пусть он тебе не родной, он стал родным мне. Не сомневайся хотя бы в нём. Мы воюем по разные стороны: он за ваших, а я, так получилось, за подлых испанцев, хотя разницы, конечно, никакой — кроме той, что, окажись я с вашими, я убивала бы далеко не всех испанцев (там ведь, мама, не одни урки, есть и такие, как я: отщепенцы; отщепенцы, к слову, носят особые повязки, их... нас... легко отличить, отчего ваши бьют нас с особым усердием, совсем не так, как урок. Но я отвлеклась). Недавно мой сброд сошёл с его сбродом, мой мальчишечка легко ранил меня, я — его, и, лёжа рядом, мы наконец-то вдоволь наговорились, чтобы узнать друг друга. Тогда же, обсудив план с парадом, мы поняли, что он хорош, что он единствен. Что другого такого случая не представится. Разве что через год. Но протянем ли мы ещё один год...

Мама, не доноси на меня.

Мама, твоего внука зовут Александром Сергеевичем, на параде он будет в первых рядах победителей. Ты узнаешь его: у этой *нашенской* сволочи вся грудь в орденах, и она — ребёнок: мама, ему всего девять. Скорее всего, твой внук будет гарцевать на лихом пони, попирая копытами боевые андалузские стяги.

Мама, не доноси на меня.

Мама, разгляди в этой толпе ухмыляющейся победной сволочи моего мальчишечку и подмигни ему. Он ответит тебе тем же. После этого подбеги к нему с цветами (он любит густомахровые красно-белые розы Старс-и-Страйпс; пожалуйста, озаботься букетом заранее) и пригласи на вечерний чай (после парада он будет в увольнительной; надеюсь, не очень пьяный). После чего отыщи меня и, не убивая, забей свою дочь так, чтобы тебе аплодировали: мол, вот это *наша* тётка, как она эту испанскую проститутку

с одного удара/броска!.. Забитых осматривают вскользь, пульс не щупают, корм и корм, какой у него пульс. Подводы для развозки забитых казённые, бесплатные, стоят рядом с кирпичами: прикрикнешь: «Хочу эту», и тебя, посадив рядом с моим окровавленным полутрупом, отвезут за милую душу.

Мама, не доноси на меня.

А вечером напоишь нас с мальчишечкой чаем, — и поминай как звали (твоей Танькой звали и моим Александром Сергеевичем). Больше ты нас, мама, не увидишь и не услышишь.

Мама, не доноси на нас.

Мама, я живу лучше всех: от раны исцелилась (мой мальчишечка знает, куда и как стрелять), бьющих нас ваших бью без удовольствия, по привычке, сплю и вижу, когда наступит ваша победа, и я наконец-то опять пройду по улицам родного пункта А...

Мама, не доноси на нас.

Мама, спасибо, что целовала на ночь, что катала на санках и на велосипеде, посадив меня на раму (мне это очень-очень потом помогло), что срывала для меня яблоки, которые не нравились никому, кроме меня, что рассказывала о хлопотливой заботливости облаков, которые бережно хранят всё потерянное нами на небе, чтобы потом положить это рядом с растеряшей, когда она, проснувшись, окажется на земле, что до трёх лет носила меня только на плечах, чтобы я сидела выше всех и дальше всех глядела (моему мальчику девять, я его уже не поношу, а так хотелось бы), что день за днём читала мне перед сном Пушкина (я тарасилась восхищённой куклой, а ты, засыпая, читала на память, закрыв глаза, целыми страничками), что открыла девятилетней мне Борис Леонидыча: «В тот день всю тебя, от гребёнок до ног, / Как трагик в провинции драму Шекспирову, / Носил я с собою и знал назубок, / Шатался по городу и репетировал...» Ты была очень хорошей мамой. В этом я очень-очень хочу походить на тебя.

Твоя Таня, по-прежнему любящая тебя.

Не доноси на нас, мамуля! Да, я тебе больше никто, но мальчишечка, мальчишечка...

Как новенькая

Мама, спасибо за кетчуп. Не представляю, как ты смогла переступить через себя и чего это тебе стоило... Прости, что так задержалась с этой благодарностью и этим восхищением тобой. Я лишь недавно снова научилась думать и писать. Мама, ты мой герой. Без тебя не было бы ничего.

Я умерла, когда ты, подскочив ко мне на параде, ударила меня камнем в висок и окатила мою голову кетчупом (как, где ты добыла его в это трудное для родины время?!). Вторая, новая, я, ещё не научившись дышать, услышала ворчание кучера, который вёз мой труп к тебе домой: «Какая же пахучая у этой испанской охотной девки кровь... Какое же говно они, верно, кушают... Я же весь провоняю... Меня же баба на порог не пустит... Придётся заехать на базар и купить речного песка, только он отделит меня от этой кровавой вони... Вы уверены, мадам, что ваши собаки будут кушать эту падаль?.. Разве их не отвратит её запах?.. Какие же они у вас непритязательные...» Я ещё не понимала, что речь обо мне, но вторая я уже смекнула: наконец-то начинается счастливая жизнь.

Так я родилась заново. (Мама, ты не помнишь, я — первая я, ужасная, испортившая себе и тебе жизнь, — в какой рубашечке появилась из твоего чрева? что на рубашечке было? не любовная ли пастораль кисти Костеньки Сомова?) Помню мальчишечку, который закатился к тебе ночью после парада пьяным, но довольным, что у нас всё получилось: он бросал меня в воздух, словно идеально круглое яблоко, и вторая я, упав, если б умела, вертела бы пальцем у проломленного тобою виска: легенда Воронежского фронта изо всех сил дул на рухнувшие из-под потолка останки, но они не хотели катиться.

Наша геройская тройца всё сделала правильно, но прежняя я подвела вас. Прости её, мама. Планы рухнули, новая я могла только лежать и улыбаться, и мальчишечка плюнул на меня до поры: «Любимая бабушка, — сказал он (мама, я стала магнитофонной плёнкой, и ты могла бы зарабатывать длинные рубли, устраивая на ярмарках представления под названием “Полумёртвые знают устный

счёт и Толстого”, где моя плоть в мини-юбке шамкала бы синими бестелесными губами, считая до единицы со ста опрозраченными болью и молью нулями и изрекая томами “Войну и мир”), — давайте так: у меня преогромная пенсия, которая вся (кроме водочных трат и бабских издержек) в вашем распоряжении: поднимите на ноги мою любимую маму, чтобы мы, как задумали, стали предателями родины и ретировались ОТСЮДА, а я пока займусь собой. Мне, бабуля, взбрело в голову освоить одну важную профессию».

Но ты, мама, поступила иначе. Прежней меня нет, а новая я взахлёб аплодирует: не отказавшись от деньжищ героя, ты продала меня в тьмутаракань полоть огороды. Спасибо, мама! Только в тяжком труде обретён быть может навык жития. И в образовании, мама: наломавшись, я бежала в вечернюю церковную школу, где шесть лет изучала надписи на бумажном рубле. И вот я готова к счастью и пишу тебе корявым, но новым почерком. (Зачем? разве ты не участвовала во мне? разве ты не знаешь, что со мной делалось? Чтобы порадовать тебя, мама: новая я не считает эти семь лет чем-то бесчеловечным. Ты продала меня, но теперь я не отщепенка, а настоящий член.)

Девочка моя, не вздыхаешь ты сейчас, взглянуть бы на тебя одним глазком. Мама, я как новенькая, но смотреть тут не на что: я развалина, счастливая тем, что годна играть в цирке уродов на гармошке. В вечерней церковной после изучения рубля нас натаскивали на этом благородном инструменте, потому что нашему приходу очень нужны денежные знаки. Наш наставник по имени Человек Из Электрички вколотил в нас десяток жалостливых подзаборных песен, которые мы исполняли в тринадцать гармошек в поле, мимо которого мчались поезда, заставляя их останавливаться и выносить нам варёные куриные яйца и целые треухи копеечек. Как прекрасны были эти семь лет.

И про мальчишечку. Ему уже шестнадцать годочков. Наконец-то став счастливой, я глазами и телом прильнула к телевизору, в котором узрела его, моего родного приёмного сыночка. Оказывается, он без руки (я помню его речи той послепарадной ночью, но на глазах моих лежали пятаки, поэтому образ его утрачен), но сумел

не без отличия окончить школу извозчиков, о чём в течение трёх часов приплясывали в передаче «Легенды Воронежского фронта»; оказывается, он снова рвётся бить подлых испанцев, но командование бережёт героя, обещая исполнить его желание, когда на фронте сложится ужасающая ситуация, которая будет угрожать всей родине, «потому что такие, как он, — сверхчеловеческая основа для заделывания прорыва и перехода в решающее наступление»; оказывается, на последнем параде он сидел рядом с карликом, и всё никак не может прийти в себя от счастья; оказывается, увидев карлика, он обделался, но это считается проявлением высшего уважения, и карлик даже не кривился, а штаны, галифе, в которых был мой мальчишечка, теперь демонстрируются в музее Легенд Воронежского фронта; оказывается, стирать их не только не стали, но по отдельной настоятельной просьбе дают вдыхать (после чего некоторые, задержав дыхание на долгие минуты, ныряют в людское море пункта А, чтобы впервые почувствовать себя рыбой). Хорошая передача.

Я написала ему, — и мы снова вместе, хотя ещё не встречались. Переписываемся, строим общие планы. Это трудно: я только что снова научилась думать и писать, а он почти разучился писать и думать. Но навыки, когда ты наконец-то счастлив, очень быстро восстанавливаются.

Надеюсь, вскоре он будет годен играть в цирке уродов большую макаку, которая кричит: «Хайль оберштурмбаннфюрер» (что бы это ни значило), и мы составим с ним незабываемый дуэт. Это, мама, наша с ним маленькая тайна, которая позволит нам жить дальше со всё усиливающимся бесконечным счастьем.

Если ты захочешь написать мне или написать на меня донос, вот адрес: Энск-3 до востребования. Моё имя? Никакая я теперь не Танька, мамочка, а Багаж, который судьба сдала в счастье и который едет и едет, не зная ни владельца, который не принадлежит самому себе, ни горя, которое одно на всех. Как это на женском? Наверное, так: Ноша.

(Тебе это до лампочки, но, мама, если раньше навоз был безразличен мне, то теперь я безразлична ему, и я с самого

ранья мажусь им по макушку, чтобы он, приняв меня за свою, на блевал мною. Это не просто. Но это днём. Хорошо, что судьба оставила мне ночи и письма мальчишечке и от него.)

(Прости за аромат, которым несёт от письма. «Красным пунктом А» опрыскивать бесполезно: многие пробовали, получалось только подлее.)

Не убоившаяся

Мальчишечка мой!

Магазин «Охотник» есть в Энске-3, а в нём живёт чучело ужасно двухметрового испанского медведя, которое днём выставляется на улицу, чтобы, смело затушив о него окурок, граждане проникали внутрь и выходили с «лучшим подарком: вилами». Рядом с медведем всё время ошиваются толпы, у которых нет денег на вилы: они приходят посмотреть на тех, у кого есть деньги, чтобы позавидовать и, если представится случай, отнять новенькие вилы, сказав: «Ты себе ещё купишь, а нам без вил — край». А поскольку наше представление бесплатно, эти толпы непременно станут нашими первыми зрителями-и-обожателями. В конце концов, мы могли бы выступать с благотворительными увеселениями: пускаем по кругу соболиную шапку, на собранные золотые покупаем вилы (конечно, со скидкой) и разыгрываем их с помощью лототрона. Обожаателей становится ещё больше. В надежде на даровые вилы они тянутся за нами из Энска в Энск, привлекая всё новые толпы зрителей. Наконец, возле Северного Ледовитого о., где водятся такие русопятские медведи, на которых выходят с двумя-тремя вилами и где мы дадим заключительное шоу сезона, мы оставим нашу театральную телегу (как прекрасна и дальновидна твоя профессия!), передав её верным ученикам и последователям, а сами сядем в селькупскую лодку с солнечным парусом и оттепельными

промоинами уплывём ОТСЮДА. Говорят, о. давно не тот: без стеснения превращается в жидкость, невзирая на эпохи, режимы и солнцеворот. Жидкость, мальчишечка, не лёд: из окружения — вывезет. Главное — грянуть «Марсельезу», чтобы не подстрелили иноводные патрули (разыщи мне её ноты и текст: разучу, и затынем).

Согласен? Тогда продолжим обсуждать детали нашей передвижной потехи для людей, мечтающих о вилах.

Мы остановились на:

...трижды прокричав дурным голосом магическое заклинание «Хайль оберштурмбаннфюрер», на которое так остро реагируют *наши* патрули (они врываются в толпу наших зрителей, чтобы расчистить место посередине под танцплощадку с трибуной для доклада о положении на Воронежском фронте, «живым» духовым оркестром, лотками с мороженым из ГУМа, лузгающими семечки барышнями из ПТУ понятых, которые жмутся в ожидании приглашения на матросский танец, и кавалеров с пронзительными алчущими живости взглядами из ближайшего патологоанатомического училища, но нашим зрителям это развлечение уже не интересно, и они сажают барышень на плечи, мороженое раздают детям, а кавалеров просят проверить пульс у павших патрулей. И это не постановка, а живое творчество масс, мальчишечка!)... трижды прокричав, твой герой, долговязая макака в очках с диоптриями, цыкнув на зрителей: «Тс-с-с», начинает препираться с гармонисткой, то и дело меняя *наши* разговоры, чтобы то понравиться публике, то быть ею возненавиденной.

ГАРМОНИСТКА (*я; в фате невесты, но с измусоленным чужими губами напомаженным ртом*) (*отыграв настолько жалостливую каторжную песню¹, что зрители, проникнувшись, перестают попирать ногами патрульных и дают им аспирин, который мы будем раздавать перед*

¹ Уж ты, гуленька, мой голубочек, / Сизокрылый ты мой воркуночек! / Отчего ко мне, гуленька, в гости не летаешь? / Разве домичка моего ты не знаешь?..

представлением, разумеется, предупреждая, что это не то, о чём они думают). Это что же, я не могу уйти, даже развратно виляя обезьяньими бёдрами?..

МАКАКА (ты) (свисая на хвосте с пластмассовой осины).
А куда напوماдилась-то?

ГАРМОНИСТКА. Туда.

МАКАКА. А чего?

ГАРМОНИСТКА. Опостылело.

МАКАКА. Кто или что?

ГАРМОНИСТКА. Оба. Представь, сёрнка: мне захотелось развестись с отечеством и выскочить замуж за чужбину. Надела я фату, накрасила, чтобы приглянуться за границе, губоньки, а отечество не пускает: хватает за нервы и лезет христосоваться. А зубы не чищены, а в пасти лай и непрожёванные чужие мужские губы и даже девичьи уши. А объятия кандалные, а руки пеньковые и к горлу тянутся, а комплименты животные: «Такие тугие ещё и античные перси. А наши солдаты забыли, когда ели мясо».

МАКАКА. А чего ты хотела, мам?

ГАРМОНИСТКА. Хотела, чтобы, надругавшись, отпустили.

МАКАКА. А они, надругавшись, надругались ещё раз и сказали: «И надругаемся снова, и надругаемся опять, а потом надругаются вон те, а за ними — эти, а когда те и эти свалятся от усталости, мы позовём новых и любезно предложим им: а ну-ка, парни и девушки, а давайте-ка надругаемся над этой вместе, а потом поодиночке».

ГАРМОНИСТКА. Это. Их. Слова. Откуда ты знаешь, что они сказали?

МАКАКА. А папа-то у меня кто?.. Вот именно.

ГАРМОНИСТКА. А я всё равно уйду, и пусть они меня подстрелят, но я уйду.

МАКАКА. Так подстрелят же. И я небось огорчусь.

ГАРМОНИСТКА. Неужели они палят на поражение?

МАКАКА. Нет, мам, они мажут и мажут, а ты идёшь себе, виляя моими бёдрами, и идёшь, а они мажут не переставая.

ГАРМОНИСТКА. Да не убоюсь я стрельбы в меня на поражение.

МАКАКА. Твоё дело.

ГАРМОНИСТКА. Да не впаду я в грех колхозного жевания водочной тюри беззубым ртом.

МАКАКА. Это невозможно.

ГАРМОНИСТКА. Что же делать, сынок?

МАКАКА. Разве что со мной: мне можно, я ветеран. Положу тебя в чемодан и поеду себе в неметчину. Мало ли у меня дел в неметчине...

ГАРМОНИСТКА. Да я и сама ветеран.

МАКАКА. Испанцам нельзя, мам. Испанцам ещё не доверяют.

ГАРМОНИСТКА. Я знаю. Тайные медали к годовщинам дают, а веры никакой.

МАКАКА. Только что мне в неметчине делать...

ГАРМОНИСТКА. Да и я иногда об этом задумываюсь... А когда мы всё-таки поедem, ты прокрутишь в моём чемодане дырочки? Я ведь ещё не филе палтуса, чтобы совсем не дышать.

МАКАКА. А ты пообещаешь не тыкать в них шилом, когда в них будут заглядывать?

ГАРМОНИСТКА. Пообещаю!

МАКАКА (*в сторону*). В крайнем случае я всегда могу выбросить чемодан в окно, а ей дать гранату.

ГАРМОНИСТКА. Ты сказал «гранату»?

МАКАКА. Тебе послышалось.

ГАРМОНИСТКА. Граната лучше шила.

МАКАКА. Правда?

Гармонистка и Макака затягивают новую жалостливую песню², но она тонет в оре и погроме. Одиночные выкрики: «Перемётчики!» в ответ на разыгранную сценку вскоре складываются в дружное скандирование: «На вилы их!» После чего публика вламывается в магазин «Охота», и.

Как тебе это, Александр Сергеич?

Твоя не убоившаяся приёмная мама Таня.

² Ой ты, тундра бесконечная, / Ой, ой, ой! Ой, ой, ой!.. / Ой, тайга ты бесконечная, / Ой, ой, ой! Ой, ой, ой!.. / С топором / Напролом / Я иду! / Халды!..

Лапу мне

Как сама, мамка Танька?

Не прошло и двадцати годков, как я охомутился. Поздравь, если не в падлу. Наконец-то я нашёл бабу, от которой мне не хочется оторвать конечность, которой так не достаёт в пору весенних ласк и пития на брудер-как-его сразу с двумя пацанами. Зовут Клавкой. Она из Энска-4, куда я и перебрался.

Звала-звала, уже и дитя общее народилось, и даже выросло так, что не стыдно сдать в сыны полка (у сынов знаешь теперь какой оклад жалованья! а за ранение знаешь сколько отваливают! и девы увеселительные теперь дармовые, за счёт родины! а боевое пойло такое, что, говорят, ногу отрывает, а ты только быстрее чешешь! Но это так, к слову: не хочет моя отдавать пока сыночка в солдатчину: мол, здесь пригодится), а я всё не решался, а тут за мной пришли одни (долг им мой покою не давал, а чем я его отдам? — разве что их трупами), и я вмиг собрался, и вот мы тут, мамка, здравствуем, чего и тебе желаем.

Ждём тебя в гости, и гости эти и свадьбой будут (моя хочет, чтобы мы всё-таки расписались), и крестинами моего мальчишечки (моя говорит, что некоторые у них и позже крестили).

А назвали мальчишечку Есениным. Я хотел Серёнькой, а моя так упёрлась, повторяя и повторяя: «Дай, Джим, на счастье лапу мне», «Дай, Джим, на счастье лапу мне», что я взвыл — и, дав ей в ухо, согласился, хотя, конечно, по-хорошему, стоило дать ей во второе ухо, чем успокоить. Терпеть не могу этого чувака... Сам зову мальчика Есенькой, а также Сенькой, но не при ней, — обижается и выставляет из дому.

Поздравляю тебя, ты теперь бабуля!

Кучерское дело, которое я так любил (несёшься по метельной целине в безлунной ночи в неведомое, а за спиной праздник: майоры с падшими женщинами отдыхают так, будто завтра не будет: вдоволь пия, вкушая бутерброды и засасывая друг дружку до синяков, а если и ударят в спину, то не со зла, а чтобы поделиться остатками,

о которых можно только мечтать), тут не в почёте. Нету его почти. Отмирает, и безвозвратно, мам, ибо фаэтоны и телеги пришли в негодность, а секрет производства колеса утерян, а на квадратных (как бы тебе объяснить, что такое «квадратный»... типом как голова, когда болит с перепоя и, даже глядя на рубль, не понимаешь, что это за бумажка топорщится посреди чьей-то блевотины) не разъездишься, да и, если надеть на руки старые боксёрские перчатки и бежать по-собачьи, на четырёх конечностях получается быстрее, чем на квадратных колёсах местного завода.

Мам, оказывается, в Энске-4 есть берег какого-то (довольно синего) моря, поэтому я теперь рыбачу, принося домой столько рыбы, что мы её разве что не пьём... То есть пили бы, если б не живоглоты из Сытного приказа: и на берегу стоят с засадами, чтобы отнять, и в воды на чёлнах выходят, чтобы абординовать и отнять. В славном рыбацком деле и протез мне в помощь (он теперь всё время деревянный, и я втыкаю в него острое: крючки и нож, чтобы он не потерялся, или когда хочется пырнуть на берегу или в море подлеца, который зарится на улов), и горизонт, у которого ловится лучше всего, только порой так долго потом возвращаешься...

Мам, походу, у нас всё хорошо. Правда, моя недавно стала заговариваться: всё время просит новое корыто, а то «наше-то совсем расколосось». А у нас и корыта-то нет, она и стирает, и полощет в проруби... С ней происходит что-то знакомое, но я никак не могу вспомнить... Ладно, просто подожду, чем это закончится.

Привет тебе от Есеники.

Мам, приезжай, а? Хотя бы в Энске-4 побываешь.

Твой... как ты меня называла?... мальчишечка, что ли?

Я забыл, мам: когда приедешь, на мою косо не смотри, чужих не слушай, улыбайся моей, ладь с ней, и она ответит тебе тем же. Клавка в жизни хлебнула дай божё. Я ведь, мам, у неё третий... Я тут недавно ловил на горизонте, и на меня вдруг накатило, когда рыба спала, а я всё равно в носу ковырялся. В общем, мам, написалось... так, баловство. И ты гляди на него не очень строгим взглядом, лады?

*Клаву брал и прапорщик, и милиционер,
 Клаве не понравилось: звёзды на погонах
 маленькие, скудно их; подлый адюльтер
 (мент и прапор, выспавшись, драпали законных
 драть, «смешная Клавдия, ибо ей я муж»;
 даже если оба два забежали вместе,
 в ночь, когда по радио двухголовый туш
 шпарили с тарелками без любви и чести,
 без стыда и горечи выбегали и —
 видела, — под окнами стоя, жали ручки,
 со смеху покатывались, и в небытии
 Клава хорохорилась до грядущей случки);
 вшей окопных прапорщик приносил и пах
 трупамы недавними: «Думала, я с кофе
 бьюсь до полоумия с “Русью” на губах?
 Клавка простодырая, каждый день — голгофа»;
 мент шептал ей на ухо всякие слова,
 самые спокойные — «Я убийца, Клавка»,
 и душил размеренно; вряд ли не мертва,
 Клава снова слышала: «Мне сейчас несладко».*

Покедова, мам.

Соловей лета

Дорогой сэр Чарлз!

Мне кажется, мы с вами последние из тутошних, кто ещё умеет писать (я) и читать (вы). Окружающие меня давно уже не брали в руки чернил, а в рот слов: только укают, мычат и подблеивают. Окружающие вас, я в этом уверена, пишут не переставая, но сами ничего не читают. Оттого я ваш корреспондент, а вы мой адресат. Уж не взыщите.

Пишет вам древняя старуха Танька из прифронтовых воронежских земель, о которых на наших военных топографических картах сказано просто и искренне:

«важные высоты, которые нельзя отдать вовсе, даже если придётся положить за них всех и вся». Мы же зовём их Энсками-под-номерами, где номер — натуральное число, в зашифрованном виде (часто с обратным смыслом) отображающее расстояние от пункта А, по которому (а вот тут смысл прям, как средний палец во рту младенца) можно понять, что есть в том или ином Энске: чем циферка больше, тем меньше... Написала и задумалась, а чего же меньше-то... Человеческого достоинства, вот чего. Впрочем, получается, что в пункте А есть всё, и особенно он богат достоинствами. А это, разумеется, не так. Ладно, сэр, это присказка, которую можно пропустить.

Перехожу к короткой, как зачатие, истории последних тридцати трёх лет моей жизни, один эпизод которой заставит вас поседеть и, возможно, покаяться за главный труд вашей жизни.

После Энска-4, в котором есть берег какого-то весьма синего и сытного моря (извините за это возмутительное «какого-то», но на наших картах в этих местах нет берега моря; возможно, из соображений военной тайны), я с семьёй перебралась в Энск-5, в котором есть всё (кроме берега моря), но только в падшей фазе развития. Эти земли славны своей свалкой, вершине которой позавидовали бы гималайские пики. Впрочем, самой вершины никто ещё не достиг, ибо без запаса «тушёнки» это невозможно. Мой внук Есенин, которому не чужды альпинистские амбиции, однажды почти уговорил меня покорить с ним эту невероятную гору, и я было уже собралась, но в последний момент спряталась: в ночь начала экспедиции ко мне весь в сомнениях пришёл мой сын Александр Сергеевич и сообщил, что я, вероятно, стану той самой «тушёнкой», запасом мяса, в тяжком пути внука навех...

Тут, как в пункте А, есть всё, и оно, вы удивитесь, сэр Чарлз, глубоко съедобно (даже какой-нибудь старинный ламповый радиоприёмник «Эстония-2») — если под рукой есть дрова, вода, кастрюля и хрен. А рыться и находить мы приучены бытием всех предшествующих поколений. Так мы наконец-то зажали сытно и даже стали размножаться, потому что детей сборщиков падали не берут на фронт

ни испанцы, ни *наши*, ни смершевцы. Вы спросите, отчего же, древняя старуха Танька? И я отвечу: сэр, мои многочисленные правнуки пугают их так, как ни один из видов смерти на Воронежском фронте и существование на гражданке после двадцати шести лет беспорочной фронтовой службы.

А то, что мы не можем съесть, идёт на бесподобные шубы, которые мы обмениваем на пистолеты Макарова.

По рыбе, конечно, скушаем, но удушения и мордобитие, которые нам давали за рыбу, не идут ни в какое сравнение с супом из «Эстонии-2». Жить можно, сэр Чарлз!

Но тут... один из наших, которому больше не нужны пистолеты Макарова, обменял несъедобную шубу на живого человечка, которого принял за зверушку, каковой собрался напугать своих детишек. Человечка-зверушку привёз корабейник, который выменял его в Энске-4 на обувь вида «сибирский валенок». И зверушка, у которой вместо правой ступни была лапа, а вместо левой руки — плавник, рассказала нам, как хорошо теперь в Энске-4, откуда мы сбежали в поисках лучшей доли. И эти рассказы заставили нас бросить всё, чтобы вернуться.

И они оказались чистой правдой.

Ничто живое больше не покидает море, которого «нет» в Энске-4, особенно рыба, которая не клюёт даже на эклер, насаженный на крючок. А звери и люди, заходящие в воды, чтобы принять еженедельную ванну, с превеликим трудом выходят из них на карачках с непреодолимым желанием завтра же, но лучше уже сегодня, взяв с собой жену и детей, удалиться в море навсегда. Рыбаки, которые уйдут с лодок, опустив ноги в воду, больше не могут ходить, а плавают — отменно: вынув из вод ноги, они не находят ступней — только лапы, похожие на тюленьи. Их собаки, выпрыгнувшие из лодки в воду, чтобы поплавать, возвращаются с молчаливым рыбьими головами. Или не возвращаются, издали смотря на хозяина умными печальными глазами налима.

Узнав об этом, в Энск-4 потянулись человечьи караваны. Море, которого не найти даже на топографической карте, огородили забором, а за проход к водам дерут страшные

деньги. Но люди всё равно стоят в нескончаемых очередях, чтобы войти в воду и пропасть с суши. Из моря на сушу больше не выходят, сэ! Лосиные семьи топчут вохру́ и ломают турникеты. Крысы делают подкопы и стаями уходят под воду. Голуби несутся к морю наперегонки, чтобы упасть в него камнем.

Первое сентября, детям надо учиться военному делу, а их нет: все ушли в море!

Деревья, которые на дух не переносят солёную воду, подступают к ней целыми рощами... чтобы что, сэ Чарлз?

Это письмо я, древняя старуха до пояса и русалка ниже него (виновата, сэ: не могла удержаться: как дитя, плескалась на мелководье от рассвета до заката, и вот вам результат: ваш юный приятель Дж. Кольер, если бы я сверху была помоложе, вполне мог бы взять меня натурщицей для своей «**Земной девочки**»), сейчас положу в бутылку из-под «Столичной», чтобы бросить её в воды нашего славного «несуществующего» моря (надеюсь, бутылка не отрастит себе пышный рыбий хвост, чтобы смыться-уклониться от моего почтового поручения).

Как вы объясните всё это?! Что за утопление видов творится, сэ? И что мне теперь делать? Я мечтала свалить ОТСЮДА всю жизнь. И что, вот это всё — и есть заветное ОТСЮДА?

Нырять? нет?

Обнимаю вас, сэ, пока ещё собственными артритными руками.

Жду вашего ответа, как соловей — первой майской электрички, которую надо перекричать.

Бородино
3

Отсюда
91

М.ГРИМ
Справочник убегающего, сборник
Бородино & Отсюда, повести
Исупов / «30 февраля», издатель
2025

Elton John
Nikita

Hey Nikita, is it cold
In your little corner of the world?
You could roll around the globe
And never find a warmer soul to know

Oh, I saw you by the wall
Ten of your tin soldiers in a row
With eyes that looked like ice on fire
The human heart, a captive in the snow

Oh, Nikita, you will never know
Anything about my home
I'll never know how good it feels to hold you (hold you)
Nikita, I need you so

Oh, Nikita is the other side (oh)
Of any given line in time
Counting ten tin soldiers in a row
Oh no, Nikita, you'll never know

Do you ever dream of me?
And do you ever see the letters that I write?
When you look up through the wire
Nikita, do you count the stars at night?

And if there comes a time
Guns and gates no longer hold you in
And if you're free to make a choice
Just look towards the west and find a friend

Oh, Nikita, you will never know
Anything about my home
I'll never know how good it feels to hold you (hold you)
Nikita, I need you so

Майк Науменко / «Зоопарк» «Гопники»

Кто это идёт, сметая всё на своём пути?
Кто одет в цветную рубашку и красные носки?
У кого на плече висит сумка с надписью AC/DC,
У кого на ногах из чёрной резины грязные сапоги?

Это гопники! (3 р.)
Они мешают мне жить!

Кто слушает хэви-метал, «Арабесок» и «Оттаван»?
Кто бьёт друг другу морду, когда бывает пьян?
У кого крутые подруги, за которых не дашь и рубля?
Кто не может связать двух слов, не ввязав между
ними ноту «ля»?

Это гопники! (3 р.)
Они мешают мне жить!

Кто хлещет в жару портвейн, кто не греет пива зимой?
Кто плюётся, как верблюд, кто смеётся, как козодой?
Кто гадит в наших парадных, кто блюет в вагонах
метро?
Кто всегда готов подбить нам глаз и всадить вам
в бок перо?

Это гопники! (3 р.)
Они мешают мне жить!

Их называют гопники.
Их называют жлобы.
Их называют урлой,
А также лохами,
Иногда — шпаной.
Их называют и хамами.
Но имя им — гопнички.
Имя им — легион...

